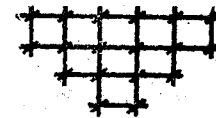


4 руб.

КОМИТЕТ
ПЕЧАТИ
Руб. = 2005

В. КОКОСОВ

НА КАРИЙСКОЙ КАТОРГЕ



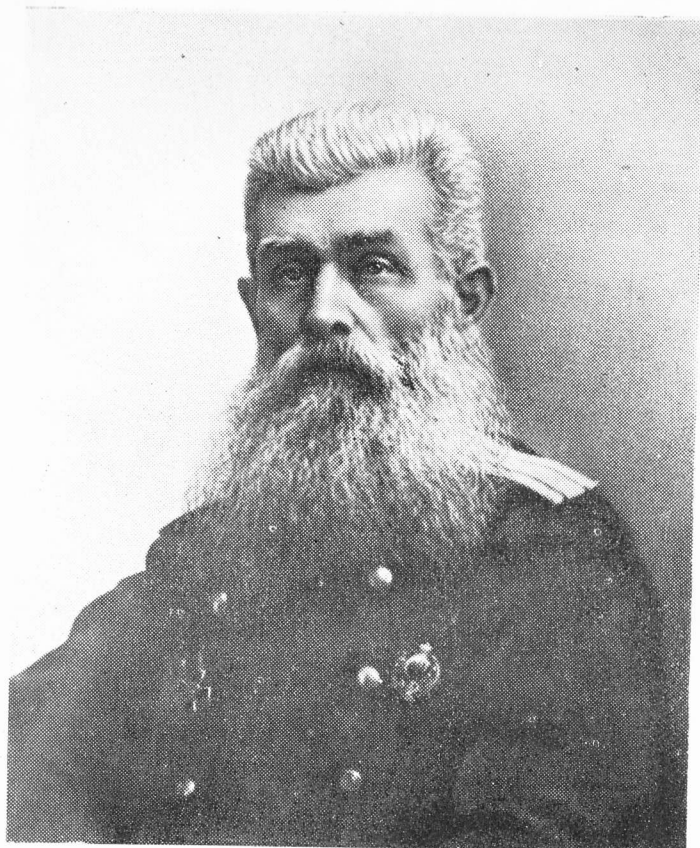
ЧИТА • 1955

В. КОКОСОВ



НА КАРИЙСКОЙ КАТОРГЕ

РАССКАЗЫ И ВОСПОМИНАНИЯ



В. Кокосов

Читинское Книжное
Издательство

1955

Редактор-составитель *Е. Д. Петряев.*

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ КОКОСОВ

I

Старожилы Забайкалья еще помнят военного врача и писателя Кокосова: в конце прошлого века он служил в Чите, а затем в Акше, на границе с Монголией. Им запомнилась не только характерная внешность Кокосова — высокий, почти богатырский рост, приветливое лицо с большой белокурой бородой и ласковыми серыми глазами, — но и его удивительная доброта, любовь к простым людям и отзывчивость к человеческому горю.

Владимир Яковлевич Кокосов родился 8(20) июля 1845 года на Урале, в семье сельского священника. Рано потеряв отца, он жил у деда, тоже священника, но «землероба и пчеловода». Семь лет Кокосова отдали в ближайшую бурсу (духовную семинарию) в Перми. В бурсе тогда процветали нравы и порядки, описанные Помяловским. Как рассказывал Кокосов в автобиографической повести «Любопытная встреча», за годы пребывания в бурсе многим семинаристам ни разу не попадалась в руки какая-либо светская книга.

И все же, несмотря на гнетущую обстановку ханжества, долбежки, издевательств над человеческой личностью, в семинарии было не мало мыслящих учеников, они уважали правдивое слово, верили в могущество труда и знания.

В конце 50-х годов в семинарии организовался кружок, руководимый демократически настроенными учителями. Кружок имел связи с местными интеллигентами-разночинцами, создал маленькую тайную типографию и подпольную библиотеку. В складчину выписывались сочинения В. Г. Белинского, журнал «Современник» со статьями Н. А. Добролюбова и Н. Г. Чернышевского. Здесь читали «Колокол» и «Полярную звезду» А. И. Герцена, стихи Н. Огарева, М. Михайлова, «Письмо» Белинского Гоголю и другую запрещенную литературу.

В кружке Кокосов познакомился с Ф. М. Решетниковым, впоследствии видным писателем-демократом, автором «Подлиповцев».

Жандармам удалось в 1861 году раскрыть и разгромить эту организацию пермских пропагандистов, уцелела только часть библиотеки. Несколько преподавателей и много воспитанников было выслано из Перми. Кокосова тоже исключили из семинарии «по нерадению к учению и неблагонадежности».

Нанявшись помощником кочегара на один из камских пароходов, Кокосов добрался до Казани и здесь начал готовиться к экзаменам за курс гимназии. Пребывание Кокосова в Казани совпало с памятным событием расстрела крестьян в селе Бездна, Казанской губернии. Казнь «зачинщика» Антона Петрова, яркая антиправительственная речь любимого молодежью профессора А. П. Шапова, произнесенная в память убитых — «искупительных жертв деспотизма за давно ожидаемую всем народом свободу», — ссылка Шапова, студенческие демонстрации — все это «блуждало, волновало, глубоко западало в душу» чуткого и впечатлительного Кокосова.

В 1863 году вместе с несколькими земляками Кокосов переехал в Петербург. Работая грузчиком на невских пристанях, он добывал себе средства к жизни и настойчиво продолжал готовиться к сдаче экзаменов. В этот период он снова встретился и очень близко сошелся с Ф. М. Решетниковым, а через него и с Н. Г. Помяловским. Наряду с Добролюбовым и Чернышевским, Решетников и Помяловский были для Кокосова «незабываемыми проповедниками великой любви к народу».

Наконец, в 1865 году аттестат зрелости был получен, и Кокосов принял в медико-хирургическую академию. Выдающиеся профессора академии (Боткин, Сеченов, Бородин, Руднев, Якубович и многие другие), книги, дружная семья студентов, — людей «разного чина», — вся совокупность влияний шестидесятих годов укрепили у Кокосова «веру молодости» — твердую убежденность в необходимости просвещения народа и демократических преобразований в России. «Мечтали и страстно мы верили, — говорил Кокосов, — что принесем истинную пользу обществу, а главнейшее народу русскому в его безысходном, всепоглощающем горе и страдании».

В декабре 1870 года Кокосов окончил академию и через несколько месяцев оказался в Восточной Сибири. Его назначили заведовать отделением Иркутского госпиталя.

В Иркутске «усвоение военной субординации» у Кокосова сразу же пошло «неуспешно». Следствием этого было неожиданное откомандирование его врачом Карийской каторги в Нерчинском округе. Здесь невольным свидетелем чудовищного произвола царских тюремщиков он провел десять страшных лет. Как врачу ему приходилось присутствовать при самых жестоких наказаниях и даже при смертных казнях. Он просиживал ночи у

койки наказанного. «Рыдал я, — писал Кокосов, — нередко над каторжником, избитым плетью и положенным для излечения в лазарет, в особенностях над избитой женщиной...»

Полное духовное одиночество и моральные страдания Кокосова усугублялись материальной нуждой. Но особенно мучительным было сознание бессилия хоть чем-нибудь помочь обездоленному каторжному люду. На второй год пребывания на Каре Кокосову пришлось бороться с огромной эпидемией сыпного тифа: за три месяца там умерло более восьмисот человек. Чуть не погиб и сам Кокосов, заразившись при уходе за больными.

Попытки Кокосова улучшить санитарное состояние каторги всеми способами пресекались. «Дирижер волчьей стаи» — администрации Карийской каторги — полковник Марков не мог стерпеть замечания Кокосова о том, что каторга живет в вонючих, гнилых зданиях, имеет по 5—7 кубических аршин воздуха на каждого заключенного, ходит на работы полунагая, в лохмотьях, без штанов, босая и поедается мириадами едва не вершков вышей, не говоря уже о более «благородных» насекомых — блохах и клопах. Вызвав Кокосова, Марков в самой грубой форме стал угрожать ему: «Знаете ли вы, — кричал он, — что я вас на Сахалин закатаю вместе с бродягами, не помнящими родства?.. Губернатор был на Каре недавно, ревизовал каторгу и нашел все в отличном порядке, а у вас выходит какая-то помойная яма!...»

В 1873 году на Кару привезли «государственных преступников» — политических ссыльных. Для Кокосова встреча с ними была «нравственным спасением». За время службы на Каре Кокосов лично знал 89 «политических». Многим из них, несмотря на свою угловатость, сдержанность и крайнюю молчаливость, он стал настоящим другом. К этому времени относится первая попытка Кокосова заняться литературным творчеством. Его карийская быль «Заурядчина», написанная стихами, не могла, конечно, появиться в печати, но была хорошо известна «политическим». В ней изобличались «зауряд-чиновники» — грубые и невежественные люди, взяточники, истязатели и казнокрады.

Кокосов, как вспоминал политический ссыльный Н. А. Чарушин, «пользовался искренней любовью и широкой популярностью среди каторжан, для которых он был единственным человеком, пытавшимся облегчить их страдания».

Уезжая в конце октября 1881 года к новому месту службы — в забайкальский городок Акшу, — Кокосов увез с собой массу заметок и дневников, надеясь когда-нибудь поведать миру о подлинной жизни Карийской каторги.

В Акшу Кокосова назначили старшим врачом 2-го военного отдела Забайкальского казачьего войска; на врачебном попечении Кокосова состояло пятидесяти тысячное население, разбросанное на территории в 60 тысяч квадратных верст. К больным приходилось делать частые и далекие поездки; во время их Ко-

Кокосов имел возможность хорошо познакомиться с краем, с жизнью и бытом забайкальцев. О крае он многое узнал также из рассказов старожилов, от своих возниц и спутников по поездкам.

В 1890—1896 годах Кокосов был начальником Читинского военного госпиталя, затем возвратился в Акшу и в половине 1903 года, после 33-летнего пребывания в Забайкалье, уехал в Европейскую Россию, где служил в Воронеже, Бобруйске и Минске. Последние пять с лишним лет Кокосов жил в Нижнем Новгороде (теперь город Горький), уже находясь в отставке и занимаясь почти исключительно литературным трудом.

Умер В. Я. Кокосов 17 октября 1911 года и похоронен над Окой: сейчас там разбит парк.

II

К обработке своих карийских дневников Кокосов вплотную приступил только в 1900 году, 55 лет от роду. Послав «Отрывки из воспоминаний врача о Карийской каторге» в журнал «Русское богатство», Кокосов вскоре же получил от редакции (редактором отдела беллетристики был В. Г. Короленко) благоприятный отзыв. В майской книге журнала за 1902 год появился первый рассказ Кокосова «Не наш», а в октябрьской книге — следующие три рассказа.

В 1902—1906 гг. Кокосов опубликовал еще 10 рассказов и очерк «К воспоминаниям о Н. Г. Чернышевском». В 1907 году произведения Кокосова вышли в Петербурге отдельной книгой под названием «Рассказы о Карийской каторге».

В период первой русской революции рассказы Кокосова приобрели большой общественный смысл: они воочию любому непредубежденному человеку показывали звериную сущность «власть имущих».

Памятуя завет Помяловского о том, что надо «писать о всех участниках жизни», с душевной болью и гневом рассказывал Кокосов о Карийской каторге и ее жертвах. С полным основанием он относил к себе знаменитые слова Н. А. Некрасова:

Без отвращения, без боязни
Я шел в тюрьму и к месту казни.
В суды, в больницы я входил.
Не повторю, что там я видел...
Клянусь, я честно ненавижу!
Клянусь, я искренно любил!

Любовь к своему народу, ненависть к каторге и условиям, которые ее породили, заставляли Кокосова с особенной настойчивостью, часто даже с излишней детализацией, описывать отталкивающие черты и особенности каторжной жизни. Желание ярче и возможно правдивее передать свои впечатления нередко

приводило Кокосова к явному натурализму. Несмотря на это, многое из написанного Кокосовым своей искренностью продолжает привлекать к себе внимание читателя. В ряде рассказов с большим реализмом Кокосов показал благородство и неисчерпаемое духовное богатство простого человека-труженика, погибавшего и на каторге, и на «вольном поселении» от произвола царских сатрапов, от варварского казенного «благочиния» тогдашней России.

Хотя первые рассказы, а затем и книга Кокосова были напечатаны народническим журналом «Русское богатство», идейно Кокосова нельзя считать народником. Слабо разбираясь в новых течениях политической мысли, Кокосов, как он сам заявлял, оставался всю жизнь «шестидесятником» и «отсебятиной» (т. е. стоящим вне партий).

О писателях, подобных Кокосову, А. М. Горький неоднократно говорил, что произведения их «мало имеют общего с теорией народничества, с политическими и культурными задачами этого учения». «Беллетристы-народолюбцы, — указывал Горький, — дали огромный материал к познанию экономического быта [и истории] нашей страны, психических особенностей ее народа, изобразили его нравы, обычаи, его настроения и желания».

В. Д. Бонч-Бруевич в своих «Воспоминаниях» рассказывает, что В. И. Ленин с большим вниманием относился к творчеству Помяловского, Решетникова, Левитова, Николая Успенского и многих, многих других, порой совсем маленьких бытописателей-народолюбцев. Вот таких писателей, говорил Ленин, мы должны вытаскивать из забвения, собирать их произведения и обязательно публиковать отдельными томиками. Ведь это документы той эпохи, а писатели-народники, надо отдать им справедливость, умели собирать большой материал. Они не сидели по домам, а шли в низы, изучали жизнь рабочих, крестьян, ремесленников и очень хорошо, подробно записывали их язык, условия быта...

Первым редактором рассказов Кокосова был В. Г. Короленко, и это в литературной биографии Кокосова имело решающее значение. Советы и поддержка Короленко помогли Кокосову правильно оценить и использовать свои творческие возможности. А. М. Горький также читал в рукописи многие рассказы Кокосова и находил возможным, после некоторых поправок, напечатать их в сборниках «Знание», высказывая автору надежду, что эти рассказы «не залежатся».

Рассказ Кокосова «Гидра», читанный осенью 1910 года Л. Н. Толстому в рукописи, получил, по свидетельству П. И. Бирюкова, одобрение великого писателя. В этом рассказе и в ряде последующих («На усмирении», «Палач», «Не жизнь») описывалась бесчеловечная «деятельность» карательных экспедиций и чрезвычайных судов, свирепствовавших после 1905 года.

Забайкальские впечатления дали Кокосову материал более чем для шестидесяти рассказов и бытовых зарисовок (циклы:

«Из забайкальских пережитков» и «Из жизни на монгольской границе»).

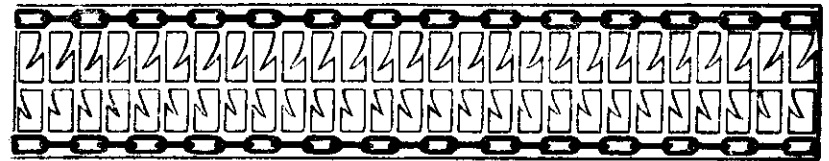
Еще при жизни Кокосова готовились к выпуску два больших сборника его произведений, напечатанных в 1907—1911 гг. в различных периодических изданиях («Очерки и рассказы из житейских встреч и впечатлений» включали 32 и второй том «Воспоминаний о Карийской каторге» — 20 рассказов). После смерти автора сборники изданы не были. Увидели свет лишь повести «Любопытная встреча», рассказы «Не жизнь», «Каторжанин Горшков» и некоторые другие.

Помимо литературной деятельности, во многом связанной с жизнью Забайкалья, необходимо отметить и немалые общественно-культурные заслуги Кокосова (организация школ, чтален, участие в работе музеев, научных обществ). Кокосову принадлежит ряд ценных краеведческих статей и заметок.

В настоящий сборник включены наиболее интересные в историко-бытовом отношении рассказы Кокосова. Большинство из них печаталось в редких и малодоступных теперь изданиях Поволжья. Тексты даны с учетом исправлений, внесенных автором в 1911 году при подготовке им издания сборников своих произведений.

Евг. Петряев.

Из воспоминаний о Карийской каторге



Е Л Ь К А

В начальных месяцах моей службы на Карийской каторге на утренних приемах больных в каторжном лазарете изредка появлялась пожилая изнуренная женщина с правильными чертами лица и голубыми огромными глазами. Ее звали Надеждой. Она была женою каторжника Ивана Буракова, отбывавшего срок на Нижней Карсе, в пересыльной тюрьме. Надежда приходила в лазарет с дочерью-подростком, лет четырнадцати-пятнадцати. Девочка держалась обеими руками за платье матери, бессмысленно улыбалась и, при обращении к ней с вопросом, боязливо пряталась за спину матери.

— Вы извините, ваше благородие, за дикость мою Ельку, — оправдывала мать свою дочку, — блаженная она у меня, — всех бонется, кого со светлыми пуговицами увидит: случилась с ней беда, с тех пор попритчилось. До беды была ласковая, веселая, отцу с матерью росла на радость; певунья была, что хирургвим господень! Одна она у нас, что у господи свечка... не сохранила дочку молитва материнская...

— Чем ваша девочка болела? — задал я вопрос.

— Зачем ей болеть, ваше благородие, — воскликнула торопливо мать, — с родной матерью живет, мать оберегает здоровье, заботится... от болезни бог да добрые люди; от злых людей... кто убережет? Наша карийская жизнь известная: утирай кулаком слезу, защити некому... Злодеев много живет на воле, больше чем в тюрьмах: взял власть в руки и... злодействует! — на лице матери, с синевой под глазами, в сжатых бескровных губах, во ввалившихся глазах появилось страдание, душевная мука и горечь.

Надежда беспомощно махнула рукой, вытерла катившиеся из глаз слезы: она стояла согнувшись, вся вздрагивая от душивших ее рыданий. Прятавшаяся за матерью Елька, как волчонок, выглядывала с правой и с левой стороны спины матери, скалила

белые, ровные зубы, издавая громкие, несвязные звуки: «Ху-ра-ай! Дух-дай! Рабба! Рабба! Мушарик!» Продолговато-округлое с правильными чертами, бледноматовое личико, огромные синие глаза с длинными ресницами, с черными, как выточенными, бровями, черные густые выющиеся волосы, заплетенные в толстую косу, крутой благородный лоб выдавали писаную красавицу. Если бы не идиотское выражение глаз и судороги губ при несвязных бормотаниях.

— Прощения просим, ваше благородие, спасибо за лекарство! — направляясь к двери, говорила Надежда. — Пойдем, доченька, пойдем, болезная! — беря дочь за руку, ласково говорила мать, — забывается часом: столбом будет стоять на одном месте, пока за руку не уведешь, — забывается родная! — Елька качающейся, подпрыгивающей походкой покорно шла рядом с матерью.

— Веселая бывала девчоночка, — по уходе Надежды, на мои расспросы, начал рассказывать фельдшер Алексей Трофимович Морозов, — с моими девочками игрывала; мать ее к моей жене захаживала, помогала по огороду. Надежда года три назад пришла в каторгу за мужем. Мужа в тюрьму посадили, мать с Елкой остались на просторе, — куда деваться? Приспособилась Елька к моим ребятам, было ей тогда лет двенадцать. Красавица, работающая: с песенкой вставала, с песенкой работала, что по силам, с песенкой спать ложилась... Пела все больше про травушку-муравушку, про цветочки лазоревые, прозвали мы ее карийским соловьем, — вчуже сердце радовалось! Бывало, вечером после работ где попало на полу свернется калачиком, — спит, как убитая! Сонную возьмешь на руки, к своим девкам на подстилку перенесешь: друзья были по ребячьему делу! Своих на руках двенадцать штук, как на подбор лестница, — тринадцатая незаметна... Потом с Елкой попритчилось... плакали мои девки, убивались...

— Расскажите, Алексей Трофимович, что случилось с девочкой?

— Родная мать от рассказа уклоняется, господин доктор, — растерянно заговорил Трофимыч, — меня извините... опасаемся... В каторге о многом рассказывать нашему брату не приходится: выгонят со службы, — куда я с дюжиной ребят пойду? За плечами лестница, мал-мала меньше.

...Приглядевшись и ознакомившись, Алексей Трофимович рассказал историю Ельки, наделавшую шуму даже в каторге...

— Насчет серебряной ложки, украденной якобы Елкой, оказалась напраслина: ложку нашли за комодом, — несвязно, спотыкаясь в последовательности, сидя у стола в моей комнате и попыхивая трубочкой, начал рассказ Алексей Трофимович, — не причем оказалась серебряная ложка, якобы для отвода глаз... В каторжной Каре взрослых плетью бьют, законом дозволяется, а детей чтобы через палача наказывали, — не слыхивал! Я,

господин доктор, тридцать лет с каторгой околачиваюсь, за такое время видов видывал... Два года назад приехал в Нижнюю Кару смотрителем пересыльной тюрьмы Демидов, рыжий человек, с плешью во всю голову, подбористый по всем статьям, к тому же женатый. Супругу его звали Неонилой Федоровной: строгая была женщина, почет, уважение любила, хотя была только канцелярская чиновница; между прочим, косяя на оба глаза, а видела далеко, что и где делается. Демидовы приехали на службу в Кару по вызову начальства из Баргузинской тайги, он в рваной рубахе, сапоги на босую ногу. Месяца через два три люди оперились: появилась пара лошадей, пролетка, снотовая шуба, у жены вместо душегрейки и худой юбки — лисий салоп и всякое удовольствие... Демидов был не молодой, не старый, — середка на половине; рожа масляная, губы толстые, с вывертом, все зубы на виду; ходил бойко, руками размахивал. До баб был большой охотник. Полковнику Демидов понравился: услужливый, на каторгу страх наводил; чиновникам, офицерам способствовал... Супруга его, кремень-баба, любила деньги, поклонны, приношения, арестантские просьбы, — всей тюрьмой командовала; главное, вела большое знакомство с любовницей толковника, Настей, которая командовала каторгой от Верхней тюрьмы до Усть-Карийской богадельни...

Увидел Демидов Ельку, девчонка понравилась, он возжаждал... сейчас к матери...

— Отдай девку жене в горничные, рубль в месяц платы, жена пуждается в прислуге, не отдашь, твоему мужу и тебе с Елкой припомню...

Приходила Надежда к моей жене советоваться: битый к битому за советом пришел... Чего будешь советовать, когда петлю на глотке затягивают?! Поплакали бабы, погоревали, с тем и разошлись... Поступила Елька к Демидовым, мать сама привела девочку, сдала барыне с рук на руки.

— Не беспокойся, Надежда! будет девка послушная, жить хорошо будет, — не обидим: ребят у нас нет, работой затруднять не будем... Красавица твоя дочка, я таких не видывала...

В скором времени Демидов повел на Ельку баталию; раз пять она убегала к матери: «Утоплюсь, маменька, удавлюсь! Ни днем, ни ночью нет покоя от барина»... Ходила Надежда к барыне Демидовой, жаловалась.

— Дура ты, дура набитая! Мой Папушок шутит с девчонкой, играет с ней по ее малолетству, а ты, дура, слушаешься, лезешь с жалобой!..

Надо было случиться греху: палач Сашка со Средней тюрьмы был вытребован Демидовым для исполнения приговора над двумя арестантами. В ожидании экзекуции Сашка проживал при полицейской команде — я с ним состою в знакомстве — он мне и рассказывал:

...В ожидании работы сидит я в казачьей, — третьи сутки

пошли с моего прихода со Средней: вышла какая-то заминка. меня на работу не требовали... Сидим с полицейскими, калякаем о моем ремесле, — время было солнце на закат, тюрьма с работ пришла, прозвякали кандалами. Вбегает вдруг смотрительский кучер Сенька Вихрастый, запыхался, хрипит, выговаривает:

— Сашка! иди сейчас к смотрителю, с инструментом, в квартиру требует... Озверел! барыни нет дома, мне оплеушину дал, в ушах звенит, — с девчонкой воет...

Побежали мы с Сенькой, полицейский за нами... Что, думаю, за диковина? Солнце на закат, — кого бить хочет! Забежали в горницу: рычит смотритель, кулаки в крови, выкрикивает:

— Кусаться, сволочь? Кусаться?! Я тебе покажу! Я тебе покажу! Я тебе покажу!

Нас увидел:

— Бери ее! Бей в мою голову!

Стоит в углу девчонка, ободранная, почитай в наготу, волосы растрепаны, вся надрывается...

Сенька с полицейским схватили девчонку...

— Дяденька, не тронь! Дяденька, не тронь! Насильничает барин. Каруул!

Свалили девчонку...

— Бей в мою голову! Приказываю!

Я, дурак, махнул раз пяток плетью: девчонка вытянулась...

— Больше, ваше благородие, бить дите не буду!

— Ты? не будешь?

— Не буду, ваше благородие, дите малое, — сперва я ударил, не разобрал...

Ка-а-ак он ударит меня кулаком по уху! едва на ногах устоял, окровянил, в голове туман появился...

— Не буду дите бить, ваше благородие! Что хотите со мной делайте... убили... померла она...

— Померла?! Убили?! — выкрикнул смотритель, ошарашенный, испуганный. — Померла, померла, померла, что со мной будет?! Сенька! фельдшера зови.

Посинел его благородие, лихоманка трясет, зуб на зуб не попадает, схватился за голову, завыл, как собака... Девчоночка лежит на полу ниц лицом, оголилась вся, не шевелится... Мы с полицейским стоим, — у меня плоть в руке.

— Воровка она, воровка, серебряную ложку украла! — выкрикивал смотритель.

— Не можем знать, ваше благородие, девчонка померла... не шевелится...

— Прибежал я с посланным Сенькой, — запрятывая в карман трубку, рассказывал Алексей Трофимович, — разобрать ничего не могу!.. Смотритель, что дурная собака, бегает по комнате, Сашка с плетью в руке, полицейский, на полу лежит Елька...

Повернул ее на спину; снял, что улаженница, на губах пена, зубы оскалились... Поднял, напуганку к носу...

— Жива? Нет?! Жива? Нет?! — выкрикивал присевший на корточки Демидов. — Пропала моя годовушка! — Посинел сам, не хуже Ельки... Долго оттирал я девочку; нет, нет, да и вдохнула, застонала... Взял я Ельку на руки, с Санькой понесли в лазарет, — смотритель ничего... не препятствовал...

— С тех пор Елька блажить начала. Исклещили девочку не за понох табаку! — тяжело вздохнув, закончил рассказ Алексей Трофимович. — До бога высоко, до царя далеко, господи доктор, — особенно из каторги...

КАТОРЖНИК СРУБЛЕВОВ

Июльское солнце 1872 г. пекло немилосердно, весна и лето начались полной засухой, — с апреля не было ни капли дождя. Сопки, покрытые лесом и легким кустарником и окружавшие долину р. Кары справа и слева по течению, сама падь с тюрьмами, казармами, домами чиновников и сельских обывателей были подернуты пеленою дыма от горевшей где-то тайги: «марево», «хмара» — выражались жители. Солнце красным тусклым шаром выделялось на небе сквозь нависшую «хмару», казалось, оно и не грело грешную долину, но духота и жар были невыносимые. За отсутствием воды в речке Каре и ее запрудах золотопромывательные машины в разрезах стояли без дела; вольно-рабочий и каторжный люд был занят исключительно снимкою торфов для обогащения золотосодержащего пласта.

День лазаретной работы уже начался: с 7 ч. утра подошла партия человек в восемь арестантов, заявивших себя больными при утренней раскомандировке на работы в пересыльной тюрьме Нижне-Карийского промысла, где находился и каторжный лазарет.

При отсутствии медицинского надзора в тюрьмах и казармах смотрители тюрем и сотенные командиры, в силу необходимости, отправляли в лазарет для медицинского осмотра всякого, заявившего себя больным при утреннем раскомандировании на работы.

Верхняя тюрьма отстояла от Нижней Кары на 10 верст; Средняя — на 5 верст; Новая (нижняя) — на 5 верст и Усть-Кара — на 15 верст.

С 4—5 часов утра в летнее время, с 6—7 ч. — в зимнее заявившие себя больными в Верхней тюрьме отправлялись, под конвоем, до Средней тюрьмы, где менялся конвой. Со сменой и усилением конвоя прибавлялась новая партия заявивших себя больными и набиралась толпа в 15—20 человек, которая и приходила в лазарет к 8—9 часам утра. То же самое происходило и на

другом, противоположном конце каторги; из Усть-Кары заявившие о болезни отправлялись до Новой тюрьмы (нижней) 10 верст, где сменялся конвой, присоединялись больные этой тюрьмы, и новая толпа в 15—20 человек направлялась к лазарету; трудно больные отправлялись на подводах. Толпа болящих двигалась с обеих сторон каторги медленно, находилась в дороге не менее 4—5 часов до лазарета и являлась утомленной, голодной, не евшей со вчерашнего вечера. Непринятый в лазарет, возвращенный обратно в тюрьму голодал целые сутки.

Больные, отправляемые в лазарет смотрителями тюрем, записывались ими в шнуровые тетради и, кроме того, каждый снабжался особым билетом от смотрителя. В случае приема в лазарет, врачом делалась пометка в тетради: «принят», и тогда билет принятого передавался смотрителю лазарета. Иногда делалась отметка: «подано медицинское пособие и дать отдыху от работы два, три дня» и т. д. или же: «подано медицинское пособие и отправляется обратно». Наконец, иногда отмечалось просто: «обратно» или «приходил без надобности». Возвращенным обратно, как обманувшим, надлежащее начальство, по возвращению их в тюрьму, отпускало порцию розог или сажало в одиночный карцер на хлеб и на воду; этого требовали административные распоряжения.

Без привычки в первые служебные недели на каторге трудно было разобраться и приспособиться к ежедневному наплыву 30—40 человек, заявлявших себя больными. Начинается, бывало, осмотр, опрос: «Что болит?» — «Голова кружится; плечи ломит, ноги ломит, есть ничего не могу, — всего разбило». — «Сердце болит; тошнит, рвота часто бывает». — «Силушки нет, ослаб, — годы мои стары: шестой, седьмой десяток пошел». — «Все болит: руки, ноги отнялись, хоть убейте, идти обратно не могу». — «Отдохнуть бы, ваше благородие, денек, другой, а больше мне ничего не нужно». — «Я, ваше благородие, сознаюсь: утром, вставши, недомогался, — как будто причина была, а теперь размялся в дороге и особо ничего не сознаю за собой».

Часы проходят, а тут все не можешь окончить осмотра, приема, измерить температуру, выслушать, выстучать... Сознаюсь, что не менее половины — симулянты, лодыри, которым смертельно надоела однообразная, беспросветная, тюремная обстановка, подневольная работа, «баланда», «параша» да и лица товарищей, заключенных в одной камере. Заявил себя больным, прошелся 5—10 верст, в лазарете побывал, «не своих», надоевших до смерти каторжников, повидал, чего же лучше? А там пусть, что хотят, то и делают: розги, так розги, карцер, так карцер.

Дождь, слякоть, холод или смертельная жара, — ничто не останавливало ежедневного прихода десятков заявивших себя больными. Исключения бывали 1-го и 15-го числа каждого месяца, когда каторга на работу не «выгонялась»: топились тюрем-

ные бани; каторга обмывалась, парилась, наслаждалась и отдыхала.

Прошло довольно времени, прежде чем я привык к новому складу жизненных условий, да и ко мне привыкли, узнали вновь прибывшего врачевателя и решителя подчас судеб арестантской шкуры. Как ни дешево ценилась эта шкура на карийском тюремном рынке, а не поднималась рука поставить требуемую «инструкцией» отметку: «обратно» или «приходил без надобности», за чем должна была последовать порция административных взысканий. Суди меня за это господь-бог и неиспорченное человеческое сердце.

В описываемый день, 22 июня 1872 г., подошла такая партия больных в 18 человек из Средней и Верхней тюрем. Между пришедшими находился каторжный Верхней тюрьмы, прикованный к тележке (тачке), Федор Срублевов. Пока осматривались, записывались, распределялись его товарищи, он стоял в сторонке приемной комнаты, прислонив прикованную тачку к стене.

— Федор Срублевов, — окликнул я, когда до него дошла очередь.

К столу подошел, придерживая тачку сбоку, коренастый, плотный арестант, лет 37, немного выше среднего роста; лицо у него было продолговатое, в веснушках, с небольшой русо-рыжеватой бородой и закрученными, по-военному, усами. Лицо это выражало утомление, усталость от продолжительной ходьбы по горячему июньскому солнцу и пыльной дороге. Его полуобритая голова к темени была несоразмерно широка; лоб узкий, с белым поперечным шрамом над правой бровью. Серые глаза его, немного на выкате, постоянно жмурились, как бы от боязни солнечного света. При приближении Срублевого к столу, за которым я сидел, два казака-конвоира, с заряженными ружьями и прижатыми штыками, очутились с обеих сторон подошедшего.

— Вот что, молодцы: отойдите к приемной двери, здесь, у стола, очень тесно, и это затрудняет при осмотре, — распорядился я.

Конвоиры отошли шагов на шесть. Глаза Срублевого замигали, зажмурились учащенно, и он ближе пододвинул к себе свою тачку.

— Чем болен, Срублевов?

— Вот извольте посмотреть.

И он показал нарывные опухоли на правой ладони и левом колене. Левое колено и правая ладонная поверхность были воспалены, напряжены, темнокрасного цвета и очень болезненны при давлении. Нарывы ладонных поверхностей, в особенности правой, и левого колена были частыми случаями заболевания каторжных да и вольных горных рабочих. Причина этих заболеваний: нажимание правой ладонью на рукоятку лопаты при земляной работе и необходимость действовать левым коленом при подъеме земли, гальки или камня для накладывания в тачку.

Печего греха таять: большинство нарывов ладони и колена были искусственными, чтобы иметь возможность пролежать, «отдохнуть» в лазарете неделю, другую. Заведомо нарочитые болезненные процессы, в большинстве наружные, до полного калечения себя, встречались нередко в первые годы моей службы. Раздробить ударом кайлы или лома пальцы на левой руке, натереть глаза известью или золой, вызвать искусственные язвы, выворачивание век, укус языка, проколы слизистой оболочки губ или век иглой или шилом и т. п. были на каторге довольно частыми явлениями.

У Срублевого нарывы были, сравнительно, давнего происхождения, флюктуировали и не вскрывались наружу от утолщенной, омозоленной, загорбелой кожи ладони и колена. Он был принят в лазарет, и в первый же день после его поступления смотрителю лазарета была дана записка: «Каторжного Федора Срублевого необходимо по болезненному его состоянию, — нарывы левого колена и правой ладони, — освободить от оков, впредь до его выздоровления».

Записка врача, при рапорте смотрителя, представлялась в управление Нерчинскими ссыльно-каторжными, от которого и исходило распоряжение о временном освобождении от оков.

Через четыре дня Срублевым был освобожден от позных оков и тачки, которую он таскал за собою день и ночь около года. Вместе с распоряжениями о снятии оков и тачки пришло предписание.

«Срублеву ни под каким видом не позволять свидеться с женой Аграфеной, добровольно за ним пришедшей и проживающей на Верхне-Карийском промысле».

Приковывание к тачке (тележке) на год или на два — высшая мера наказания тяжким преступникам (убийцам, грабителям), бегавшим не один раз с пути следования, этапов, каторги. Срублевым был бессрочный каторжный, бегавший с пути два раза, пойманный и судимый за два побега в совокупности, получивший сорок плетей и прикованный к тележке на два года.

За Срублевым в каторгу прибыла добровольно его молодая жена Аграфена, лет двадцати пяти, довольно бойкая, очень разбитная и симпатичная женщина; детей у них не было.

По каким-то соображениям тюремной администрации Срублеву, во все время его пребывания в каторге (третий год), свидания с женой не разрешались. Всем женам, пришедшим добровольно за мужьями, свидания были разрешены, а Срублевым, по всей вероятности, как тяжкий и опасный преступник, был лишен этой льготы.

Все эти подробности я узнал уже после, спустя довольно продолжительное время.

Каторжный Карийский лазарет был той же тюрьмой: в окнах — железные решетки, постоянные часовые с заряженными ружьями, перед передним и задним фасадом — наружные и два внут-

ренних у двух входов дверей коридора, разделявших по длине здание на две равные половины. Суточный караул из 16 пеших казаков Забайкальского войска под начальством урядника, приказного, он же и карательный начальник, — сменялся в 8 часов утра. Караул располагался в середине лазаретного здания, в помещении, огороженном тремя стенами, из которых передняя с одним окном выходила наружу.

Пространство к продолжному коридору не было огорожено и составляло как бы боковое его продолжение. Единственное окно караульного помещения в достаточной степени освещало его, но коридор оставался темным. Двери лазаретных палат, выходившие в коридор, были постоянно закрыты, а небольшие окошечки в этих дверях, назначенные для наблюдения за больными, тоже мало давали света, и в коридоре стоял полумрак.

Служилые пешие казаки до 1878 г. несли одногодичную службу: каждое первое января старый состав сводно-карийского батальона сменялся полностью другим и являлся вновь на службу через два года. Состав офицеров сводного батальона, охранявшего каторгу, был далеко не из лучших. Выгнанные и нетерпимые на службе в российских полках и батальонах, нетерпимые даже в воинских частях областного города, они посылались в каторжный батальон, как в последнее, возможное для них служебное место. И творили же они там, боже мой, что творили: заехать в храм божий пьяному верхом на лошади во время церковной службы; надругаться над каторжной женщиной; подрагаться за картами; избить товарища-офицера, плюнуть ему в лицо, дать пощечину, валяться пьяному на улице; допиться до белой горячки и быть привезенным в лазарет со связанными руками — все это считалось почти обычным.

Кроме этих действительных офицеров, служили и так называемые зауряд-офицеры, зауряд-хорунжие, зауряд-сотники; эти больше по гражданской части. Малограмотные, необразованные, произведенные в зауряд-офицеры из писарей войскового управления, штаба, бригад или из фельдфебелей и урядников стрелковых частей еще во время Муравьева в 50-х и в начале 60-х годов, они значительно отличались от первых. Военные, правда, пили, безобразничали и скандалили, но не воровали, не грабили, не изводили нижнего чина нападением на его «пак», а сплошь и рядом, в пьяном виде, отдавали тем же нижним чинам свои последние деньги, не подвергали их несправедливой обиде — стояли за них горой.

Вторые тоже пили, безобразничали, скандалили, но жали своего брата-казака, сосали его, как паук сосет попавшую в него муху. Помаленьку да потихоньку они обрабатывали своих делишки по обиранию нижнего чина и каторжного и нередко входили в сделку с вольными каторжными по покупке золота, арестантских казенных вещей (полушубков, шинелей и т. д.); продавали контрабандой водку и добывали «изрядную копейку».

Лучше их никто не составлял авансовых счетов по расходам казенных денег на разные заготовления без всякого теоретического обучения простой или итальянской бухгалтерии. Вообще в 1872 — 1873 гг. на каторге была форменная всеобщая уголовщина.

Через неделю пребывания Срублевого в лазарете вскрытые нарывы ладони и колена стали подживать и давали ему возможность свободно ходить по палате. Сам он чувствовал себя отлично. При ежедневных осмотрах и перевязке на расспросы он отвечал бойко, охотно, даже предупредительно. Лишь только я подходил к его кровати, Срублевов уже предупреждал мои вопросы.

— Повязка мало промокла, г-н доктор: ноги и руке не больно; двигаю ногой свободно. Ем, сплю хорошо...

При этом мне все казалось, что, щуря свои глаза, предупреждая вопрос о болезни, сне и аппетите, он присматривается, прислушивается к моим действиям, разговорам и беседам с больными. Большинство находившихся в лазарете каторжных обыкновенно просили прибавки: булки, водки, курительного табаку и т. д. Срублевов прибавок не просил, довольствовался назначаемой ему первой ординарной порцией: двумя фунтами яричного хлеба, фунтом мяса во щах или супе и кружкой квасу.

— Как поживаешь, Срублевов? Каково поправляешься? — спрашивал я.

— Благодарим бога, поправляемся. Дело у нас идет на поправку. — И всегда он отвечал во множественном числе... — Мы, пожалуй, скоро и на выписку приготвимся.

По тюремным и лазаретно-тюремным правилам полагалось при обходе тюрьмы или лазарета кем-либо из начальствующих лиц брать с собою из свободных нижних чинов караула двух-трех конвоиров с заряженными ружьями и примкнутыми штыками для охраны безопасности посетителя. В глазах каторжных конвой понимался как начальническая трусость и вызывал не лестные отзывы.

— А еще — генерал, полковник. Военный, кажись, человек, а боится нашего брата. Что мы, собаки, что-ли, чтобы накидываться на всякого прохожего? Эх ты, горе, а не жизнь, проклятая...

Сам лично я входил в палаты вечером один, а при утреннем осмотре больных — с фельдшером той палаты, которой он заведовал, и лазаретным старостой Петром (из вольных каторжных). Палатный фельдшер с бумагой для записывания рецептов, назначений, перемен и староста Петр — с намоченным полотенцем через плечо.

Подобный обычай привился как-то сам собою. Не приходило в голову опасения, что вот-вот кто-нибудь ударит ножом ни за что, ни про что.

Конвоиры и караульный начальник явились сопровождать

меня в первый же день моего вступления в должность врача Карийского лазарета, но я попросил их возвратиться в караульное помещение: этот конвой с ружьями и караульный начальник с пистолетом в кобуре у пояса — прямо стесняли меня при откровенных расспросах больного, да и больные, видимо, стеснялись... Не было в этом с моей стороны ни молодечества, ни храбрости. — простое, обычное дело человека, посещающего больных людей.

22 июня 1872 г. утренний обход больных, прием приходивших из тюрем и т. д. прошел заведенным порядком. Срублевов только менее предупредительно отвечал на вопросы и, видимо, был не в обычном настроении; я не обратил на него особого внимания: мало ли от чего бывает человек не в своей, как говорится, тарелке.

Около 9 часов вечера с дежурным фельдшером Иваном Павловичем мы обошли палаты и после обхода прошли в квартиру аптечного фельдшера Александра Васильевича Шотен.

Аптека стояла от здания лазарета саженьях в восьми и была соединена с главным зданием коридором, не закрытым с боков, но с крышей и полом на одинаковом уровне с лазаретным зданием. Лазаретный коридор оканчивался у стены, где было три двери: в аптеку, в лазарет и в отхожее место. Часовой стоял в этих сенях у дверей, ведущих к аптеке.

На противоположном конце коридора, у главного входа, часовой стоял у самой двери, с правой стороны. Видеть друг друга часовые не могли, да и в коридоре было очень темно.

Через полчаса пребывания у Шотена я возвращался один, направляясь по коридору к своей квартире; Иван Павлович остался посидеть у Шотена.

— Ваше благородие. Ваше благородие. Господни доктор. Позвольте слово сказать, — окликнул меня кто-то негромким голосом.

Я вздрогнул от неожиданности.

— Что тебе нужно?... А, это ты, Срублевов, что скажешь, братец? Испугал меня своим шепотом и неожиданностью...

— Ваше благородие, господни доктор, смилуйтесь, — начал он торопливо, скороговоркой, глядя в мое лицо моргающими глазами; он был очень возбужден и взволнован. — Не обессудьте. Дайте возможность повидаться, истомился... мочи нет... Христа ради.

— Чем истомился? От чего мочи нет? Ничего, брат, не понимаю... Заболел опять, что ли?

— Никак нет, здоров... истомился, моченьки нет. Христа ради...

— Да в чем же дело? Говори, пожалуйста, толком.

— Разрешите с женой повидаться, — выговорил он полупшепотом. — Истомился, моченьки нет, хоть руки на себя накладывай... Помилосердуйте.

— Что ты, что ты? Бог с тобой, Срублевов. Что ты говоришь? Что же я сделаю? Сюда, в лазарет, ее не пустят — есть запрещение: свиданья тебе с ней не дозволены... Что же я-то тут поделаю?

— Господни доктор, — повторял он в сильном волнении. — Не обессудьте. Помогите, мочи моей нет... зарезаться впору. Помилосердуйте.

— Да пойми ты, чудака, — не от меня зависит. Рад бы душой, да не моя воля... Верно тебе говорю: ничего не могу сделать.

— Дайте записку караульному начальнику: он выпустит. Повидаюсь... вернусь, беспрестанно вернусь... к утру... к смене караула: век не забуду. Помилосердуйте. — Послышались сдержанные, глухие рыдания...

Жгучее чувство боли схватило меня. Это была какая-то особенная жалость, точно к ребенку, рыдающему о потерянной навестив матери... забылось теперь это сложное чувство в полном его объеме, — давно это было.

Кончилось тем, что мы со Срублевым зашли в приемную комнату, и я написал записку такого содержания: «Лазаретному караульному начальнику. Больному каторжному Срублеву разрешается выход из лазарета до 7-ми часов утра завтрашнего дня».

Бери записку, Срублевов, и к сроку явись.

Беспрестанно явлюсь. Что вы? Что вы? Будьте не сумнительны... верьте слову...

Совершенно стемнело; было часов десять с половиной вечера. Я сидел один в своей комнате за поданным на стол самоваром и наслаждался чаепитием. Вдруг входит ко мне, или вернее, вбегает Иван Павлович, озабоченный, взволнованный и бледный.

— Что нового, добрейший Иван Павлович? Не желаете ли чаю? — спросил я.

— Нового-то ничего... А вот что вы наделали, г-н доктор?

Как что наделал? Ничего я не наделал... Что вы это, Иван Павлович...

— А Срублеву зачем выпустили? И себе вы этим беду наделали да и караульного начальника подвели, пожалуй, в ту же каторгу угодит... Срублевов ведь бессрочный, прикованный к решетке, а вы его на волю выпустили... С женой повидаются. Покажет он вам теперь жену: под суд угодите... Караульному начальнику, тому совсем беда. Двадцать лет служу в каторге, такого происшествия не слыхивал...

— Да полно же, Иван Павлович, успокойтесь. Срублевов дал слово вернуться к смене утреннего караула.

— Дал слово, дал слово. Надейтесь на его слово. Дурак караульный начальник, что послушался вас, выпустил по вашей записке... Не имел никакого права слушаться... Ведь он отвечает больше всех, просто сказать: головой отвечает... Эх, я-то дурак — засиделся у Шотена: не допустил бы я этого. Срублеву

только и надо было вырваться на волю. Жену повидать! дурака нашли, знаю я их. Ищите теперь ветра в поле, свою голову подставляйте... В тайге теперь ваш Срублевов, посвистывает да посмеивается над нашей простотой.

У меня не на шутку екнуло сердце... «Вот и дослужился», — промелькнуло в голове.

— Иван Павлович, будьте добры, позовите караульного начальника, — сказал я.

Явился пожилой человек с добродушнейшим крестьянским лицом, с обритой бородой, в серой военной шинели и с пистолетом в кобуре у форменного пояса (револьверов, берданок в Каре тогда и в помине не было; это новейшее оружие появилось в 1878 года).

— Здорово.

— Здравия желаю, ваше благородие.

— Срублеву выпустил?

— Так точно, ваше благородие, по вашей записке. — исполнил...

— Так-то оно так... Спасибо. А вот Иван Павлович — послушай-ка что говорит: нам с тобой обоим плохо придется за это, тебе больше всего...

— Не могу знать. По вашему приказанию, вот записка...

По разъяснении дела и всех обстоятельств, старый служака испугался не на шутку.

— Жена, детки есть... малые... пропал теперь... беда мне... совсем пропал...

И он горько заплакал. Жутко мне было видеть плачущего по моей вине пожилого человека.

— Вот что, вояка, — сказал я, — слезами теперь горю не можешь... попали мы, вероятно, с тобой в беду... Я, конечно, виноват во всем, подвел и тебя и себя... Прости меня. Пока еще рано могилу копать; подождем утра; не вернется Срублевов, тогда я сам донесу на себя и заявлю; что я виноват во всем... Там что будет, а пока иди и никому ни гу-гу, слышишь?

— Слушаю, ваше благородие. Пропал, видно, я, пропали детушки. — И слезы градом текли по его добродушному лицу.

— Иди, иди с богом. Не хнычь, завтра увидим...

Памятна для меня эта июньская ночь 1872 года, не то, чтобы я боялся за собственную шкуру или служебную карьеру: какая забота о собственной шкуре могла быть у 26-летнего студента шестидесятих годов, а тем более, какая забота о карьере?

Жаль было не себя, а простоватого, добродушного служаку, караульного начальника, который по неведению и точному исполнению приказаания все-таки «его благородия» совершил преступление против устава гарнизонной караульной службы, беспощадно караемое воинскими законами.

Меня мучила совесть. Я подвел неповинного человека. Он

может угодить на каторгу, а уж в арестантские исправительные роты непременно. А у него жена, дети, хозяйство, родные места.

Я прилег на кровати: картины прошлого, студенческой жизни, споров о братстве людей, о пользе народу, о работе, работе без конца мелькали в голове. Ярко, воочию, проходили в воображении пять лет пребывания в Академии, а тут, под самым окном, от времени до времени раздавалось громкое, протяжное, тоскливое «слу-ш-а-а-й».

Было около часа ночи; мне стало нестерпимо одному, и я попросил к себе из лазарета Ивана Павловича.

— Посидите со мной, добрейший Иван Павлович, а то и ночуйте здесь: лазарет близехонько, что случится или приведет больного — вместе сходим...

— Извольте, господин доктор, с большим удовольствием, лазарет — близехонько, — ответил добряк, располагаясь в моей комнате.

— Так, по-вашему, не вернется Срублевов?

— Не вернется, господин доктор. За это можно поручиться. Подумать только: бессрочный он, тележник; тоже надоело тащить за собой прикованную обузу... Да и случай выпал отличный... В каторге ему быть еще чуть не двадцать лет... А тут: вырвался из-под замка, от кандалов и тележки избавился и — валяй на все четыре стороны... По Бушулею дорога известная, прямая, тайгой непроглядной. Разбойники ведь они, убийцы, варнаки, — каторга, чего и говорить. Двадцать лет служу с ними, знаю достаточно...

— Да, — продолжал он, отдаваясь воспоминаниям, — при Разгильдееве еще служил. Мальчишкой поступил в лазарет, для обучения. Господи, помилуй. Вот были времена. Каторгу пороли, горных служителей пороли, нас, служащих — мелкоту — пороли, всех пороли. С палачом Фомкой — рядом с кучером на козлах Разгильдеев разезжал по промыслам и по каторге... Погоня срывал собственноручно. По скулам, бывало, лупит, лупит, только зубы трещат. Да что. Не один Разгильдеев, все пороли, все и всех били... Управляющие, смотрители, приставники, итегеря, вся эта горная братия — мертвым боем били... Вот там, за купальней, ниже лазарета, особый разгильдеевский разрез велся, туда сотнями мертвых складывали — горячка была, — так сотнями мерли... Ныне куда лучше. Служащих фельдшеров не быют — время отошло. Изводить изводят, а не быют... Пожалуй, и без строгости опять нельзя, тоже каторга — палец в рот не клади... Да вот на днях, сказать кстати, в Верхней тюрьме каторжному, бродяге Непомнящему, решение вышло: шестьдесят плетей... Вас позовут всепременно. Вы еще этого не видали... Вот только, что завтра со Срублевым будет?.. Заварили вы кашу.

— Выпьемте, Иван Павлович, — сказал я. — Там что будет,

то будет. На все воля божия... Под суд, так под суд... Мне-то ничего. А вот старика, караульного начальника, жаль...

— Выпить можно, если позволите... И вас, да и старика жаль: действительно, — дети.

На столе появилась водка и кусок черного хлеба с солью.

— Слу-ш-а-а-й, — раздалось протяжно и громко у окошка.

— Здорово выкрикивает, — сказал, улыбувшись, Иван Павлович.

— Для чего это, Иван Павлович? — спросил я, — трудно больных только беспокоят, под самыми окнами палат выкрикивают...

— Так полагается, г-н доктор, веселее и часовым, когда перекликаются. Слышите? Вон другой затянул ответ... «Слу-ш-а-а-й».

Перед утром свалился я на свою постель и уснул мертвым сном. Проснувшись, я тотчас взглянул на часы: половина девятого, караул сменяется в восемь. «А Срублевов?» — точно кипятком обдало меня это воспоминание. Сердце забило тревогу, мысли побежали одна за другой: вот-вот сейчас начнется тревога, переполох, нагрянет начальство, в обычное время и носу не показывавшее в лазарет, начнутся вопросы, допросы... Как? Почему? На каком основании? Как вы смели позволить? «Нарушение», «преступление», «сообщничество»... Следствие, суд... Холодный пот проступил у меня по всему телу...

Быстро соскочив с кровати, я начал будить Ивана Павловича, мирно спавшего на полу на постланной постели.

— Иван Павлович! Иван Павлович, вставайте, ради бога. Восемь с половиною часов, караул сменился.

Иван Павлович быстро вскочил на ноги и заговорил испуганно:

— Что? Что такое? Что случилось?

— Половина девятого; старый караул сменился... Где-то Срублевов?.. Узнайте, ради бога.

— Хорошо, хорошо, сейчас. Сейчас узнаю. — Он торопливо пригладил волосы ладонью и, так как спал в качестве дежурного не раздеваясь, то вышел быстро из комнаты.

Лазаретное здание находилось в пяти-шести саженьях от моей комнаты. В полуотворенную дверь я видел, как он вошел в лазаретные двери, которые сейчас же закрылись за ним. Прошел в лазарет староста Петр, за ним человек шесть служителей на длинных деревянных досках пронесли хлебные порции. Стояла обычная, полная тишина. Сердце у меня глухо колотилось, часто, усиленно, переборами... В груди не хватало воздуха. «Вот-вот, сейчас начнется, — думалось мне. — А, попался, голубчик, бессрочных выпускать, способствовать побегам, в сделки входить. Под суд захотели?»... Состояние мое было близкое к обмороку: я схватил оставшийся на столе графин и налил стакан водки, потом другой...

Иван Павлович не являлся, время тянулось бесконечно. Было более половины десятого, когда он, наконец, вошел в мою комнату.

— Ну что? как? где Срублевов?.. — кинулся я к нему с расприрасами.

— Все хорошо и благополучно, господин доктор, — ответил он спокойно. — Срублевов давно пришел, явился раньше 8 часов, еще до смены... Сидит себе в палате, как ни в чем не бывало. Чего ему дается? — бывалый служака — сообщил мне все это равнодушной тоном.

— Так как же вы целый смертный час томили меня, Иван Павлович? Бога вы не боитесь? — крикнул я задыхающимся голосом.

— Да я... я... я, господин доктор, перевязки делал, требования писал... думал: вернулся он, ладно. Чего же больше?

— Иван Павлович, голубчик, да ведь я... тут... смертный час провел.

И меня захватил истерический припадок. Неудержимо полились слезы... Иван Павлович, как столб, стоял передо мной, с удивленным, испуганным лицом и растопыренными руками.

— Пришел? Явился? Ха-ха-ха. Срублевов — бессрочный, те-те-те, человеком оказался, ха-ха. Не обманул. Вернулся. — Я обнял огорченного окончательно Ивана Павловича и целовал его, целовал, судорожно рыдая.

В конце концов, расплакался и растерявшийся Иван Павлович.

Успокоившись, мы пошли в лазарет, и начался наш обычный трудовой день. После осмотра больных в палатах я вызвал Срублевова в приемную комнату, где, кроме меня и дежурного фельдшера, никого не было. Срублевов вошел, как будто чувствуя себя виноватым в чем-то: нерешительно и медленно подошел он к столу, за которым я сидел.

Спасибо тебе, Срублевов, за честно исполненное слово. Русское тебе спасибо от меня, — сказал я и протянул ему руку.

Каторжник ошатанулся: лицо его перво подернуло, перекосило; он оглянулся, упал на колени, схватил обеими руками мою протянутую руку и судорожно, торопливо стал целовать ее.

— Не надо, не надо. Что ты? Срублевов? оставь, — говорил я, но не мог выдернуть у него своей руки. — Спасибо тебе...

— Бежать? от вас? обмануть? Никогда, никогда, — бормотал он. — Понимаю ведь я, знаю... Беспомощный вы... простой... Воскресили... Зарезаться было впору... Воскресили... Не забуду...

Через два года Срублевов бежал из разреза с земляных работ среди белого дня, «на ура», под градом выстрелов караульной цепи, окружавшей разрезные работы Верхнего промысла, и с тех пор он уже в каторге не появлялся. Скрылась и его жена.

КАРИЙСКАЯ КАТОРГА в 1873 г.

Слухи о возможности заезда на Кару (со стороны Владивостока) очень высокопоставленного лица среди администрации каторги появились с января 1873 года.

Во время приятельских встреч чиновников велись приблизительно следующие утешительные разговоры:

— Кара не по пути: приезд — дело сомнительное...

— Раньше лета приехать не может...

— Лето не за горами; не увидишь, как подойдет время; явится, как снег на голову...

— Говорят, адмирал Посет с ним едет, — для ревизии назначен...

— Чепуха! Вздорные слухи! Губернатор, генерал-губернатор уведомлений не посылают, заведующий каторгой в ус себе не берет, ведет свою линию! Мы за ним, как за каменной стеной...

— Как бы стена не обвалилась...

— Береженого бог бережет. На всякий случай подготовиться бы следовало...

— Дело не наше. Прикажут — подготовимся, не прикажут — чем богаты, тем и рады.

— Выпить, господа, закусить милости просим: заболтались, выпивку забыли!.. Бог даст, дело обойдется по-хорошему.

В конце марта 1873 г. прибыла в Усть-Кару из Сретенска последняя, зимней доставки, каторжная партия. Переночевав в Усть-карийской тюрьме, партия была передвинута на Нижнюю Кару, в пересыльную тюрьму, «для приема тюремной комиссией и медицинского осмотра». При приеме начальник партии (казачий урядник) предъявил комиссии «документы» о смерти «от жары» в пути следования трех каторжных, добавив: «В сретенской тюрьме болеют горячкой; как слышно, болеют и в перчпском остроге». Совет врача — изолировать или по крайней мере сосредоточить вновь пришедших для лучшего наблюдения в пересыльной тюрьме, переместив аборигенов в другие тюрьмы, — принят не был: пришедших разместили по всем тюрьмам каторги.

Появлению сыпного тифа администрация очень обрадовалась.

— Шабаш! К тифу петербургский гость не поедет, не допустят... Дадут знать о болезни, — проедет обязательно мимо; губернатор, генерал-губернатор доложат. — Кара останется в стороне...

В конце апреля эпидемии тифа и цинги приняли грозные размеры. Захваченный сыпным тифом, в полубессознательном состоянии, я подписал врачебному инспектору (в Читу) телеграмму: «Ежедневная прибыль тифозных, цинготных двадцать-тридцать, смертность — восемь-двенадцать, фельдшер Андреев тифа умер, сам заболел тифом». В течение двадцати пяти суток моего бессознательного состояния цифра больных в лазарете достигла шестисот человек. Приемом больных, укладкой их на полу палат

(при кроватях невозможно было разместить половины), возможным уходом за ними распоряжались фельдшера. Во все время эпидемии никто из начальствующих в лазарет не заходил; врача-фельдшеров «для усиления врачебного комплекта» командировано не было.

Судьба, или «фарг», как говорит каторга, вынесла: организм мой болезнь выдержал. Придя в сознание, получил возможность передвижения. Волей-неволей приходилось браться за заведование лазаретом и подачу медицинской помощи. Обессиленный, с трудом передвигая ногами, опираясь на березовую палку (в нижний конец которой догадливый лазаретный староста Петр — из каторжных вольной команды — вбил с острыми шляпками гвозди: «Чтобы, ваше благородие, не поскользнулись!»), в начале июня начал я обходить лазаретные палаты.

Картина лазаретных палат была незабываемо-трагична. Сотни тифозных, цынготных больных в собственных тюремных одеяниях, с кандалами на ногах, валялись на полу. От дверей внутри палат к окнам приходилось пробираться с большой осторожностью, чтобы не придавить руки, ноги, головы лежавших в отуплении людей, бредивших, распухших от цыги. Оконные рамы снаружи забитые железными решетками, отворялись подъемом нижней половины, но мало помогали проветриванию воздуха. Запах экскрементов, специфический запах цынготных, разлагавшейся мочи, карболки, хлорной извести ошеломлял, одурманивал привыкших ко всему фельдшеров, лазаретную прислугу из военной каторги (вымер двойной комплект). Мириады вшей ползали по больным, по полу, по стенам. Раз в сутки приходилось осматривать палаты для выноса умерших («выгрузка унокоенных!» угрюмо говорил фельдшер Морозов), места которых заполнялись вновь прибывшими. И в этом аду люди выживали, выздоравливали, через пять-восемь лет оканчивали сроки каторги, выходили на волю!

В приемной лазаретной комнате под моим председательством собирались «врачебные советы по принятию мероприятий для изыскания мер борьбы с заразными болезнями». Обычно утром, часов в 12, после очистки палат от трупов, после возможного насыщения алчущих и жаждущих больных фельдшера собирались в приемной комнате. Морозов «для предохранения» дымял трубкой; Меньших сидел у письменного стола, рылся в бумагах, составлял «требования» для ежедневного довольствия больных, проверял отчетность о больных. Васильев, Шотен, Долгин переносительно поглядывали друг на друга, на председателя. Издалека обыкновенно начинал Васильев.

— Сегодня вынесли восемь мертвых, против вчерашнего прибавилось двое.

— Со винами нет возможности справиться, обсыпает... Запах от трупов, рук не промоешь...

— Палатела беда на каторгу!

— Позвольте подкрепиться, г. доктор? Впереди день большой, наверное из тюрем прибавка подойдет, подвезут на быках. Разгружать придется... для подкрепления сил...

— Подкрепление необходимо...

Подкрепление вырешалось: писался рецепт на спирт, годовой запас которого хранился в аптеке под ведением аптекарского фельдшера Шотена.

— Подкрепляйтесь, господа! Пить — умирать, не пить — умирать...

— Зачем умирать, г. доктор?! Вы болели — поправились; мы заболеем — поправимся; с нас, фельдшеров, смерть подать нельзя: Андреев умер, за всех отвел очередь...

Приносившийся спирт разбавлялся водой; начиналось подкрепление с закуской пробными порциями.

— Когда эта беда над каторгой закончится?

— При Разгильдееве тысяча в одно лето умерли, — каторга до сих пор целехонька...

— Так-то оно так, а все-таки...

— Что мы будем делать, если станут ревизовать? Беда-а нам будет, если заедет!..

— Смотрители тюрем духа не теряют: от Одинцова, с Верхней, трех привезли: спины розгами исполосованы, — на другой день умерли...

— Гуди-и-ит каторга! Милостей ожидает, милостивого манифеста...

— Не собираются жаловаться?

— Жалоб не будет! — убежденно говорили старожилы-случаики. — Приезжие уедут, арестантская спина здесь останется...

— Вымрет каторга, жаловаться будет некому...

— Все не умрут: на развод останется!

— Что случится, неизвестно...

В начале июня в Нижней (повой) тюрьме для цынготных было открыто лазаретное отделение на полтораста кроватей. Под отделение были заняты обычные каторжные камеры с нарами, с обычной тюремной обстановкой. Больным выданы сукошные халаты, выдано по одной подушечной набитой соломой наволочке; довольствовались больные в счет содержания лазарета смотрителем тюрьмы, канцелярским служителем Ладыгиным. По сравнению с обстановкой лазарета отделение казалось земным раем, несмотря на то, что больные неделями не видели врача. Через трое суток, по очереди, нешим порядком, фельдшера навещали больных (прямой дорогой от лазарета — версты три).

Недели за три до приезда высокопоставленного лица в Кару из Иркутска неожиданно приехал адъютант генерал-губернатора Синельникова, сотник Винников. Впоследствии выяснилось: ему было поручено произвести негласное дознание о служебных действиях заведующего каторгой полковника Маркова. Винников разъезжал по тюрьмам, бывал в доме Маркова, раза три прихо-

длал в лазарет, взял копии рапортов врача о санитарных осмотрах тюрем, о появлении тифозной эпидемии. Прожив в Каре дней десять, он выехал в Сретенск.

Заболев тифом, я не подавал рапортов о болезни по командам (признаться, было не до рапортов), официально больным по каторге, по батальону, не числился. На основании этого почти одновременно получил два предписания, обязывавшие меня встретить высокопоставленного посетителя при лазаретном отделении Нижней (новой) тюрьмы.

При физической слабости, полуавтомат, могущий передвигаться только с открытыми глазами (закрывая глаза, терял опору, «проваливался»), я вполне подчинялся внушениям «совета», по инерции привычки направлявшего дело «заведования лазаретом».

— Нельзя вам не ехать, г. доктор. Предписание получено; один из нас с вами поедет. Вы выдвигали начальство; без вас мы пропадем, слова сказать не сумеем! Помогите нам, — изворачиваться надо.

Около двух месяцев не выходя из пределов лазарета, я не видел обстановки тюрем, казарм, каторжных работ, но я знал: каторга была полугодая, измороженная недоеданием, обессиленная, изможденная... Несмотря на существование эпидемии тифа и цинги, обесчеловечение людей, наказания плетью, розгами продолжались... Не один десяток болевших тифом каторжных умирал в лазарете с незажившими от плетей, розог «травматическими повреждениями».

Полученная от губернатора из Покровки телеграмма о непременном посещении Кары высоким посетителем произвела панику, переполох; переполох охватил и «медицинский совет»...

— Бе-е-да-а, г. доктор! Больные на полу... вонь... смрад, вши по стенам ползают... Кто в ответе!? Мы в ответе... Спрятать больных некуда: внору в лес убежать...

Часов в семь утра жаркого июньского дня мы с фельдшером Иваном Павловичем подъехали к лазаретному отделению. Иван Павлович осунулся в лице, по-стариковски согнулся; его поношенный, вытертый по швам, с желтыми пуговицами форменный сюртук вполне гармонировал с его посеревшей фигурой. Ожидать пришлось часа три; мы осмотрели больных. Ожидание высокого посетителя захватило их; больные, кто был в силах, толпились у выходящих на дорогу камерных окон, не спускали глаз с Усть-Карийской дороги.

Сидя на наружной лесенке отделения, я наблюдал растерявшегося смотрителя. Старообразный, тщедушный, в форменном мундире, с треуголкой на голове, он напоминал ошпаренного кипятком индийского петуха: он надувался, ругался, кричал во все горло на суетившихся арестантов.

— Подмети, с... сын, подмети! Не видишь мусора?! Полено с дороги убери, полено... Я тебе шкуру спущу с головы до пяток... Забирай мусор, забирай! Уноси с глаз долой; сейчас подъедут, а

вы копаетесь, разжирели бестии! Дорогу подмети; скребком отпихивай, скребком... разравняй кучу... Убирайтесь с глаз долой, сейчас приедут...

Около десяти часов на взмыленной лошади прискакал конный казак, выкрикивая:

— Едут! едут! У перелеска оставил, сейчас прибудут! — ударил палкой по лошади и поскакал дальше.

Около стоявшей одиноко в тайге тюрьмы было полное безлюдье: саженях в пятидесяти, перебираясь по камешкам, журчала обмелевшая речка Кара; тюремный смотритель суетливо направлял на голове треуголку... Подъехали экипажи.

Рапортовал смотритель; за ним рапортовал я о количестве больных в лазаретном отделении. Приславшие быстро поднялись по лесенке; по бессилию я подняться не мог. Выручил моряк-доктор, с генеральскими погонами на плечах: он сбегал с лесенки и взял меня под руку.

— Что с вами, коллега? Что у вас творится в Каре?

— Меня вы видите: полумертвый человек; что творится — увидите сами...

— Странно... странно... встречаете с палкой... Вы доносили о появлении тифа?

— Доносил, ваше превосходительство!

— Странно... странно... с палкой!

Больше моряк-коллега ни о чем меня не спрашивал и ко мне не подходил.

При беглом обходе лазаретного отделения и пустых тюремных камер (каторжные были на работе) натолкнулись на карцерное помещение, запертое на замок.

— Отворите!

Закованный по рукам и ногам каторжный Ермолаев громко заговорил:

— Смилосердитесь! Доктор приказал выпускать меня на прогулку, меня не выпускают: зубы шатаются, опухать начал, вонь заела...

Молча отошли. Ермолаева заперли на замок.

Кратчайшей дорогой мы с Иваном Павловичем доехали до лазарета раньше минут на десять. У ворот лазаретной ограды я рапортовал:

— Больных семьсот семьдесят...

— Сколько?!

— Семьсот семьдесят...

— Чем больны?

Сыпным тифом, цингой...

Вы сами больны?

— Был болен тифом, сейчас поправляюсь...

— Как вы их лечите, доктор?

— Я не лечу, наблюдаю, чтобы умершие своевременно выносились из палат...

Адмирал Посыет, во время обхода находившийся с полковником Марковым в отдалении, неожиданно подошел и спросил:

— Скажите, доктор, на каторге воздух по весу выдается?

— По весу, ваше превосходительство! На каторге все на вес выдается...

— На это и ссылается полковник Марков, — выговорил неопределенно адмирал.

При проходах до экипажей у ворот лазаретной ограды высокий посетитель обернулся и, подавая руку, сказал:

— Честь вам и слава, доктор!

Посетители уехали. После отъезда «медицинский совет» пришел в возбужденное состояние.

— Полковнику от адмирала досталось! Потный, красный, руки по швам, а тот его гвоздит! Бедовый генерал! Два шага шагнут, остановятся, генерал руками размахивает...

Фельдшера радовались от души, что не было на них окриков, угроз, выговоров и были в полном недоумении, что осмотр лазарета для врачебного персонала прошел благополучно...

После проводов, возвращаясь из Усть-Кары на Нижнюю Кару, полковник Марков заехал в Нижнюю (новую) тюрьму, где в своем присутствии приказал через палача дать каторжному Ермолаеву двадцать плетей за жалобу «о невыпуске его из карцера на прогулку».

Около месяца карийская жизнь текла без особых тревожных: положенное судьбой свершилось, особых распоряжений не последовало.

Спокойствие нарушилось с возвращением из Сретенска адъютанта Винникова, действия которого внесли большую тревогу. В Усть-Карийских вощевых складах, которыми ведал смотритель Тараторин, в прошнурованной книге квитанций Винников нашел заготовленные, подписанные, скрепленные казенной печатью квитанции о получении от подрядчика десятков тысяч аршин сукна и холста. Растерявшийся смотритель дал письменное объяснение, что квитанции заготовлены по приказу полковника Маркова на экономические сбережения, предназначены для выдачи подрядчику, в счет будущей заготовки.

Четвертого июля прибыла из Сретенска каторжная партия, в которой прибыли государственные преступники А. К. Кузнецов и Н. Н. Николаев (по нечаевскому делу); по приеме этой партии я в последний раз встретился по службе с полковником Марковым, как заведующим нерчинскими ссыльно-каторжными тюрьмами.

Начались июльские обложные дожди, загромычали стоящие от засухи золотопромывательные машины; в значительной степени уменьшились поступления в лазарет тифозных, цынготных; высшее напряжение эпидемий миновало.

Под сильнейшим ливнем, в кожаном дождевике, угрюмый,

насупленный, подъехал генерал-губернатор Синельников к вещевым усть-карийским складам. Пересматривая вновь изготовленные арестантские вещи, он взял порты и прикинул их к своей ноге: порты едва доходили до колена.

— Это что такое, полковник? — встряхивая портами, спросил генерал.

— Арестантские порты, ваше высокопревосходительство!

— Порты?! Они мне на... нос не полезут, а не только на арестантские ноги! — Он бросил порты и вышел из склада. — Сотник Винников, садитесь со мной в экипаж...

По ошибке кучер подвез генерала не к тюремным воротам, а к наружному крыльцу тюремного здания, ко входу в квартиру смотрителя. Войдя в квартиру, генерал удивился:

— Кто здесь живет?

— Смотритель усть-карийских тюрем, ваше высокопревосходительство!

— Мне у него делать нечего... Квартирные получает?

— Получает, ваше высокопревосходительство!

— Странно!

Быстро обойдя женскую и мужскую тюрьмы, Синельников вышел к экипажу, занес ногу на приступок, как вдруг услышал громкий, отчаянный оклик:

— Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! — Из-за угла тюремной ограды бежала босая, простоволосая, измученная женщина в арестантской серой юбке и кофте, запыхавшаяся, возбужденная...

— Что такое?! Что такое?! Кто такая? В чем дело? — торопливо говорил генерал, широкими шагами направляясь навстречу бежавшей.

— Поселки мы! Поселки! — выкрикивала бежавшая. — На Сахалин назначены... с ребятами... в бараке... грязь по колено... замучились...

— Покажи, где живешь! — генерал шагнул за женщиной.

За тюрьмой, у горы, в дощатом бараке была грязь невылазная: с крыши, стен текли потоки дождевой воды. На грязных нарах стояли человек тридцать женщин, сахалинских поселонок, и десятка полтора ребят.

— Давно здесь живете?

— Большие двух месяцев ждем отправки. Смилуйтесь, ваше превосходительство, прикажите отправить... измучились... на ребятах черви завелись...

— Кто заведует поселками?

— Я, ваше высокопревосходительство! — отвечал смотритель.

— Женатый?

— Холостой, ваше высокопревосходительство!

— Убирайся из квартиры и вон со службы!

— Забирайте ребят, забирайте имущество, — командовал генерал, — идите за мной!

Измокшая, нагруженная толпа женщин, с ребятами на руках и в поводу, двинулась за генералом: он водворил их в квартиру смотрителя, в которую заходил по ошибке.

В Нижней (новой) тюрьме Синельников спросил каторжного Ермолаева:

— За что тебя наказали плетью?

— Не могу знать, ваше превосходительство!

— Полковник Марков, за что он был наказан?

— За неправильную жалобу, ваше высокопревосходительство!

— На что он жаловался?

— На невыпуск из карцера на прогулку, ваше высокопревосходительство!

— Его выпускали на прогулку?

— Опасный арестант: за пятый побег из каторги судится...

— Здесь, кажется, нигде не безопасно...

Молча обойдя поредевший от больных лазарет, объехав каторжные тюрьмы, работы, не сделав нигде и никому замечания, к вечеру того же дня генерал-губернатор возвратился в Усть-Кару. Выйдя из экипажа, постояв минут пять в неподвижной позе, он вдруг сурово сказал полковнику Маркову:

— Полковник, я отстраняю вас от должности заведующего каторгой... Советую, полковник, что в яве украли — отдать! Что украли втайне — дело вашей совести... Сотник Винников, вступите во временное заведование каторгой...

В тот же вечер он выехал на пароходе в Срегенск.

ТАРАС ТИТЫЧ

Пронесшиеся разных случаев со мной немало: полсотни лет околачивался с каторгой. За такое время многое бывало! — суется около стола за приготовлением закуски и выпивки, говорил старик, отставной приставник Верхне-карийской каторжной тюрьмы, Тарас Титыч Лапшиков. Я был приглашен им к жене-старухе, заболевшей «стрельбой в ушах и пученьем утробы». Сколько раз на волосе от смерти бывал, думаешь: наступил конец земного бытия; оглядишься, — жив Тарас Титыч Лапшиков, гоголем по белому свету ходит!

Тарас Титыч был крепко сложенный старик, небольшого роста, приземистый, кряжистый, с объемистым брюшком, с лысой бугристой головой, морщинистым дряблым лицом, с мешочками под глазами.

Огромных размеров синие очки на толстом, картофелиной, носу придавали его лицу своеобразно комическое выражение.

— От роду идет мне восьмой десяток, — протирая салфеткой рюмки, говорил старик, — с тысяча восемьсот двадцать первого, с царя Александра Благословенного, поступил на службу.

восьмой год в отставке. Ныне восемьсот семьдесят второй, — сосчитайте, сколько лет я служил с каторгой? В звании канцелярского служителя в отставку вышел, сто двадцать рублей получаю пенсии; был горным штейгером, родился горным служителем, крепостным заводским человеком. Как не бывать происшествиям — бывывали! Милости прошу, доктор, хлеба-соли откупать, выпить за здоровье болящей!

Мы чекнулись рюмками, выпили.

— Старуха-то моя поправится? — после минутного молчания, как бы мимоходом, бросил вопрос старик. — Сорок пять лет живем вместе, на одной кровати спим; горя, слез выдывали много. Детей не было, на бога не рощем...

— Поправится, Тарас Титыч, поправится! — успокаивал я старика. — Пройдет день-два, супруга ваша будет молодцом, крепче прежнего.

— Значит, поправится старуха? — переспросил старик. — Извините меня, оставлю вас на минутку, необходимо посмотреть по хозяйству.

Старик вышел.

Оставшись один, я осматривал комнату: аршина три с половиной высоты, три сажени в квадрате, с блестящими выбеленными стенами, с тремя оконцами на улицу, вымытым, высокбеленным некрашенным полом, она казалась приветливой, уютной. В переднем углу, под потолком без риз и кистей, — четыре закоптелые иконы, с подвешенной к ним лампадкой зеленого стекла, с пучками верб за иконами, с прилепленными обгорелыми восковыми свечами. В переднем углу и простенках три стола, покрытые красными скатертями; между ними табуреты, окрашенные в синюю краску. Направо от входа деревянный, окрашенный в синюю же краску шкаф со стеклами в верхних створках. Сквозь стекла виднелись массивные, толстые в кожаных переплетах книги. Слева от входа зеркалом выдвигалась печь, но средние зеркала выпукло выступали выложенные из кирпича цифры — «1861», на стенах, окнах никаких украшений не было. Проходя через три оконца, отражаясь на белых, блестящих стенах, на синих табуретах и шкафе, солнечные лучи заливали своеобразным сиянием переливов небольшую комнату; спокойствием веяло в пятидесяти сажнях от каторжной, переполненной кандалными тюрьмы.

— Повеселела старуха, — торопливо входя в комнату, говорил хозяин, — стрельба успокоилась, утроба утихла. Побавался я: много ли старому человеку для смерти нужно!? Спасибо вам, доктор! Умри, старая, Титычу крышка. Выпить с радости следует Титычу, табаку попохаты! — паливая рюмки, говорил повеселевший старик. — Титычем плешивым меня каторга давно прозвала. «Тише, ребята, плешивый Титыч идет! Плешь не красная, в добром здравии приближается» — слыхивал я много раз. Каторга — народ зубоскалы, чего с ней поделаешь?.. Нос

табаком набиваю, трубку забросил; пробовал сосать, в прок не пошло. Лег сорок с хвостиком, с акатуевского рудника трубку забросил. Застал меня управитель с трубкой в зубах на часах у секретной камеры: бил, бил по голове, пока трубка с чубуком вдребезги не разлетелась: спасибо говорю, голову на плечах оставил. Грозил «зеленой» улицей через тысячу человек — помиловал! С тех пор трубку забросил... В те времена бывали случаи: двенадцать тысяч палок в одну человеческую спину решенье выходило. В четыре-пять приемов били человека: дадут две тысячи, упадет человек, близок к смерти, осмотрит доктор — в лазарет! Мясо на спине клочьями, ребра, лопатки пробиты, а... водят по «зеленой улице»!.. Жестокие были наказания! Вот что удивительно: оставались живыми, радовались...

— Расскажу я вам, доктор, — круто оборвав тему разговора, продолжал старик, — одно происшествие, со мной оно случилось. История мало занимательная, но вы увидите, что значит воля для каторги. Надо вам сказать, каторга всегда в сердцах, что собака на привокке, не узнаешь, когда человек прорвется. Кто прав, кто виноват, — как решить? Я себя считаю правым: несую службу, исполняю приказания, получаю жалование, гну людей в свою сторону; каторга думает по-своему, как бы от работ, от начальства избавиться. Мы ходим на воле, каторга сидит на привокке. Мы, старики, выросли в старых порядках, не разбирали — кто больше каторжный, я или бритоголовый бессрочный: росли вместе с каторгой, вместе горе мыкали, одну березовую кашу ели. Ныне другой народ: молодой, бойкий, родства-свойства с каторгой не признает: смотрит на каторгу свысока, за людей их не считает. Каторга чутьем разбирает людей, хорошего человека убивать не будет...

— Как нам, доктор, было не сродниться с каторгой! Он был каторжный сам за себя, мы, горные служители, — по дедам, по прадедам потомственная каторга... Назначили меня тюремным приставником, заперли на ночь вместе с каторжными для наблюдения. Хе-хе-хе! — захихикал добродушно старик. — Тоже, были наблюдатели! Запрут на замок к сорока душегубам на долгую зимнюю ночь, вместо оружия — берестяная табакерка в кармане, по пяти пальцев на руке, в случае чего выскочить — некуда. Ну, и на-а-бла-да-а-ли-и! Посылали в ночное наблюдение к самым отчаянным головорезам, чтобы они подкопов не выводили, чего худого не задумали. Завалишься рядом с бритоголовым спать... проснешься на зорьке, — вот и все наблюдение.

— Спи со Христом, Тарас Титыч, — говорят, — не бойся! Ты свое дело пришел делать, мы свое по потребности — один другому мешать не будем.

— Случалось, не спится: лежишь с полужакрытыми глазами, наблюдаешь; усядутся в кружок в карты играть, фонарь со свечкой с блока отцепят, караул к дверям назначат; не случится карт, вшей по кругу пускают, которая раньше за черту выползет,

хозяин деньги берет, все ставки забирает; не выбежит скороход, хозяин выругается, погтем раздавит... Привык я к каторге, она ко мне. Привыкли, жили, друг другу не мешали. Встанешь утром, из тюрьмы прямо к начальству.

— Так и так, ваше высокородие, состоит все благополучно: подкопов не велось, происшествий не было.

За сорок лет службы никто из них пальцем меня не тронул; случалось, ругался с ними по службе, грозил, обзывал варнаками, челдонами — они различали: где служба, где человеческий подвох... слушались, покорялись... Ударил меня в Каре Путин, это особое происшествие, я вам расскажу о нем.

В 1863 году сидел в нашей Верхне-карийской тюрьме — до решения дела — бессрочный каторжный Путин. При последнем, восьмом побеге, он стену секретного карцера пилой вырезал, вылез в тюремную ограду, вскарабкался на пали, сверху прыгнул на часового, сшиб его с ног, ружье из рук выпало. Путин ружье бросил в сторону, — а сам бежать... Пока опомнился часовой, ружье отыскал, выстрелил для тревоги, путинский след простыл! Кругом тюрьмы место глухое: тайга, кусты, деревья, кичи, б. мота. В тот день беспокойства, тревоги, ругани было много: искали, искали, поймать не могли; часового судили — на год в арестантское отделение ушел бедняга! Озлобился конвой на Путина, за своего товарища озлобился. Солдатская конвойная служба немногим лучше каторжной жизни!

Из каторги Путин бегал много раз, фамилии своей на Ивана Непомнящего не променивал: «Путиным матушка родимая родила, Путиным умру, снимать родительского благословения не буду!» Курчавый, черноватый, с небольшой бородкой, с серьгой в ухе, лет сорока, громадной силы; зубы на всех скалит, всегда говорит с усмешечкой.

— Не смеяться — не жить, Тарас Титыч! — часто он говаривал. — Жизнь на один раз человеку дадена; умрем — смеяться не будем. И смех, Тарас Титыч, от разных причин бывает, не всегда смеется человек от веселья и радости.

Петр Петрович, наш смотритель тюрьмы, не любил Путина, часто приказывал наказывать. «Естественная сволочь, а зубы скалит: дать ему сто розог». Думаю я про себя: усмешка у Путина была родовая, встречаются люди — с усмешкой рождаются; иной рождается с печалью, с тем и умирает! Бей человека, не бей — усмешки, печали не вышибешь. Петр Петрович, наш смотритель, думал по-иному: подводил каторгу под один ранжир, как бы под одну колодку.

Привели в Кару Путина года через три после побега; заковали по рукам и ногам; началось дело «о побеге со взломом из тюрьмы, с покушением на жизнь часового». Засадил беглеца не в тюремный карцер, а в секретную караульного дома, в котором человек двенадцать очередных караульных находилось. Со входа большая комната с парами по стенам, из комнаты дверь в сек-

репную, дверь окована железом, запирается на два замка; в двери оконечко для наблюдения за арестантом, секретная — три аршина длины, аршин ширины; нарка для сна — в три четверти; аршина четыре от полу, под потолком оконечко с решеткой, человеческая голова не пролезет. Секретная — повернуться негде, в ней Путин и продовольствовался. Раз в сутки, к вечеру, по доверию господина смотрителя, заходил я к Путину, со мной заходили караульный начальник и староста. Зайдем, кандалы на нем осмотрим, стены ощупаем, решетку в окне, заглянем под пары; сторож парашку вынесет. Кружку воды, два фунта хлеба принесли; через сутки бачок с горячей пищей для подкрепления сил заключенного.

Месяцев восемь дело шло тихо, мирно, благородно: признаков не было: сидел Путин по-хорошему, никого не беспокоил. Редко, редко запевал песню: потянет, потянет... оборвет, снова примолкнет; не полось ему в клетке. Караул в песнях ему не препятствовал. Вдруг на него накатило...

В тот день, как всегда, пошел я к Путину, зашел в канцелярию к господину смотрителю, доклады о всяких пустяках он требовал неопустительно, докладываю:

— К Путину иду, осмотреть, проверить.

— Идите, Тарас Титыч, службы забывать не надо; за подлецом наблюдать, охранять следует накрепко. Можно поручиться, на этот раз пташка не вылетит, крылья связаны крепко. Приговор выйдет, зубы скалить не будет, подведем ему животы: меньше ста плетей награды не получит. Хе-хе-хе! — посмеялся, знаете, себе в бороду: не любил он Путина.

Пошел я к караульному дому дорогой, навстречу вольной команды арестант Непомнящий встретился; идет с балалайкой в руках, приплясывает. Грешный человек! Не удержался — выругал его, что в казарме не сидит, по улице с балалайкой шляется; был он в подпитии, попалось смотрителю — порки не миновать. Время к вечеру, солнышко к закату клонилось, между прочим, было светло, опасности не предвиделось...

Катерга с работ возвратилась, гул стоит в тюремной ограде. Сидеть в тюрьме восемьсот человек — каплять начнут, уши затыкай, про разговоры говорить нечего. Захватил попутно сторожа, хлеб, воду, все как следует быть! Подходя к караульному дому, я споткнулся, едва на ногах устоял, однако предчувствий не было, на душе покой, тишина, сомнений не появилось. Вошли мы со сторожем; десяток казаков на нарах сидят, ружья в козлах поставлены: караульный начальник, урядник, с пар поднялся.

— Соловья проводить пришли, Тарас Титыч?

— Соловья, — говорю, — соловья, клеточку почистить, корму подсыпать...

— Не распевает? — спрашиваю.

— Нет, голоса давно не слышно: полагать надо, думу свою думает, посажен крепко, не выскочить!

Огляделся кругом, безопасно; куда ему бежать? Понюхал табак, освежил голову; угостил табаком казаков — не нюхают, больше кладут за губу: обычай в Забайкалье повсеместный.

— Тронемся, господин караульный начальник.

— С нашим удовольствием!

Подошли мы к карцерной двери: я впереди, за мной урядник, за урядником сторож; отворили дверь, я ногу на порог поставил.

— Здорово, Путин! Каково поживаешь?

Он как-ак уда-ри-ит меня кандалным замком по голове! Я на спину свалился, затылком урядника с ног сшиб — оба упали. Путин через нас, мимо казаков, в дверь, на крыльцо и... пошел улупетывать! Пока мы с урядником на ноги поднялись, пока опомнились — у меня кровь из головы, из носа течет, ничего не вижу, не понимаю, оглушил! — опомнились, караул с ружьями на улицу выскочил, я пошатываюсь, кто-то выстрелил, поднялась тревога! Выбежали с ружьями казаки из казармы, прибежали командир, смотритель, руками разводят.

Разводи не разводи — Путин из клетки выскочил! Суматоха, тревога; тайгу цепью казаки охватили, конные поскакали на поимку. Я у крыльца стою, весь мир божий кверху ногами перевертывается, кружится, как на мельнице. Кто-то, умный человек, дал знать старухе, что убили Титыча! Прибежала, голосит надо мной. Коменданту, командиру батальона нарочных послали с известием с случившемся.

На другой день к вечеру захватили Путина: ножные кандалы сбил, ручных сбить не мог, руки окровавил, мясо клочьями висит, до кости изрезано. Нашли верст за восемь, под колодиной: лежит, согнувшись в три погибели, тут его и накрыли! Разыскали по следам крови: из пораненных рук кровь текла ручьями. Избили его ружейными прикладами, волоком всю дорогу тащили, били по чему попало; бить били, убить не могли — такова его планка! Отдыхался, отлежался в карцере, кровью долго харкал: сейчас жив, в тюрьме находится, зубы скалит по-старому, усмешечки не бросил. Этим дело не кончилось! Месяца через три вышло решение — «полняк, сто ударов плетью». Все думали: конец пришел Путину, не выдержит! Начальство злобилось, милости не окажет.

Старик замолчал минут на пять. Он сидел неподвижно, перебирая пальцами висевшую со стола скатерть, машинально переносил руку к борту форменного сюртука, поводил пальцами по пуговицам, по борту, как бы сметая павшую пыль. Машинально достал из кармана брюк берестяную табакерку и впахнул табак в каждую ноздрю щепоти по две.

— Выдержал, господин доктор, Путин и сто плетей, — как бы очнувшись, продолжал рассказ старик, — сто ударов выдер-

жале... это значит триста концов человеческая душа выдержала... больше часа били при всей каторге...

Стонал, стонал, пощады у начальства не просил, потом и стопать перестал, замер... Увезли в лазарет замертво; месяца через три отдышался, снова появился в тюрьме. Есть в таких делах много непонятного для человеческого разумения...

Спрашивал я Путина: за что ты меня изувечил? Что я тебе худого сделал?

— Виноват я перед тобою, Тарас Титыч, прости Христа ради! Не я тебя бил, видит бог, не я! Дума моя о вольной волюшке била, не был я в себе властен, терпеть дольше сил не хватило! прости меня, родной, прости Христа ради...

— То-то и оно-то! — вздохнув, закончил рассказ старик. — Думаю я, что Путин человек особой категорин; души своей не продаст, дорожит ею больше всякого телесного благополучия...

Мы расстались с Тарасом Титычем большими приятелями.

РУЧАЕМСЯ!

В конце апреля 1874 года с первым весенним, из Сретенска сплавом, в числе других каторжных для отбывания срока работ на Каре прибыл бывший сельский священник, Серапион Бахраминов. В статейном его списке было обозначено, что Серапион судился «за святотатство, воровство со взломом» из находящейся в церкви его прихода свечной кружки, откуда им похищено два рубля семьдесят шесть копеек.

Серапион был изнуренный, тщедушный, с лысой головой, седой окладистой бородой старик, лет 65 от роду; нервные подергивания головы, трясение рук, блуждающие рассеянные глаза, несвязная, заикающаяся речь, частые вздрагивания, выражение испуга на лице при громком слове посторонних — указывали на его психическую ненормальность. За сосланным в каторгу стариком пришли по воле жена-старуха и взрослая дочь Елена. По рассказам жены, Серапион был «испоконвешний» пьяница; пил запоями, продолжавшимися месяца по полтора, доходил «до безумства»; совершил преступление «не в своем уме». Судился Серапион в одной из северо-восточных губерний старым, дореформенным судом и ввиду «чистосердечного признания» лишен сана, приговорен в каторжные работы на шесть лет, с поселением в Сибири навсегда. Для полагавшегося по закону «испытания» полугодовым содержанием в тюрьме Серапиона водворили в Средне-карийскую тюрьму под начало смотрителя Д. А. Барина.

Совместное жительство в камере с семьюдесятью бритоголовыми кандалными — как привилегированный, Серапион в кандалы не был закован, половины головы ему не брили — угнетающим образом действовало на расшатанную нервную систему

старика, которого при суде присяжных наверное признали бы «действовавшим без разумения», что и было в действительности: старик нес жестокую кару за болезненную слабость к спиртным напиткам.

В течение первых же двух месяцев содержания в тюрьме Серапион два раза ложился в лазарет с ломотными недугами: удущьем, лишением сна и спокойствия, в котором находился недели по три, усердно натирая себя мазями, пил «грудиной сбор» и вел большую дружбу с фельдшерами.

— Занятный старичок, умственный, — докладывал фельдшер, — попал за напрасно в каторгу. — «Ничего, говорит, не помню, что и как случилось! Зарежьте, ничего не помню. Разве бы я, священник, служитель у престола господня, в своем уме такое дело сделал? У попады нашлась бы для меня и пятишка, а тут два рубля семьдесят шесть копеек! Затмение нашло, наказал господь!» Тяготится старик жить вместе с каторгой: обижать его — не обижают, на это не жалуется, никто пальцем не трогает, а зубы скалят, этим тяготится. «Поп! отслужи молебен святому Василию, моему анделу хранителю: я сегодня именинник!» — «Повенчай Фельку на Митьке, пора им в закон войти: забережит Митька, с тебя спросится». — «За свой грех в каторгу пришел, за чужие грехи получал денежки! Почем тебе на исповеди за грех платили?» — «Попы — известная порода: семитка по семитке, полтина по полтине — сотни насбирывают! Помахал кадиллом — рубль пожалуйста». — «У нас в тюрьме, отец Серапион, на доходы не надейся; грешим, денежки не платим!» Другие заступались за старика: «Не обижай попа, ребята! один пришел на поглядку, на всю каторгу один, изведем, когда другого дождемся?». — «С попом жить вольготнее: фарту больше». — «Не говори! Пересек поп дорогу, попадет навстречу — фарт не бывает». — «То на воле, — в тюрьме другой распорядок». — «Подарил бы попадю на компанию».

— Скалит шпанка зубы, человеку тяжело, тяготится старик! Не позволите ли, г-н доктор, старику в приемной комнате пребывать? Старику будет легче, нам веселее.

— Пожалуйста! Приемный покой в вашем распоряжении.

При осмотрах, расспросах Серапиона о болезни, он конфузился, съеживался, видимо, тяготился; его худощавое бородатое лицо принимало испуганное выражение, глаза бегали рассеянно, на лбу, лице выступали крупные капли пота; он заикался, запинался в подборе слов для ответа.

По воскресеньям в приемной комнате происходили у Серапиона свидания с женой и дочерью. Часа по три сидели три человека друг против друга, изредка перекидываясь отрывистыми фразами; больше сидели молча; жена и дочь боязливо оглядывали железные решетки в окнах, закоптелые стены, казенную кровать с серым одеялом, входившего фельдшера. Серапион лениво жевал принесенный женой пшеничный калач, рассматривал

лежавшую на столе прошнурованную книгу: «Приемный журнал о прибылн и убылн больных карийско-каторжного лазарета на 1874 г.». При расставании дочь целовала отца в лоб; жена говорила: «Прощай пока!» протягивала руку, взбрасывала на мужа глаза, тяжело вздыхала и молча уходила из комнаты.

В одну из поездок заведующего каторгой по тюрьмам мне пришлось ему сопутствовать. Обезд тюрем для опроса претензий и т. д. обычно производился им в свободные от работ дни — первое или пятнадцатое число месяца, — когда каторга обмывалась в банях, отдыхала, набирала силы на последующие две недели. Заходим в третью камеру Средне-карийской тюрьмы, в которой содержался Серапион. Позвякивая кандалами, каторжные повскакали на ноги.

— Здорово, камера!

— Здравия желаем, ваше высокоблагородие!

— Нет ли жалоб, претензий?

— Никак нет, ваше высокоблагородие, жалоб не имеем, довольны!

— Кто каторжный староста?

— Я, ваше высокоблагородие! — из ряда стоявших около нар. позвякивая кандалами, выдвинулся чернявый, с полуобритой головой здоровенный детина, остановился как вкопанный, подозрительно осматривая начальство.

— Как твоя фамилия?

— Обрубов, ваше высокоблагородие!

— Молодец, Обрубов! Спасибо за чистоту и порядок в камере.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие!

— Дмитрий Андреевич, — обратился полковник к смотрителю Барину, — освободите старосту от кандалов.

— Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие! в один голос загудела камера.

— Каторге спасибо, старосту поддерживаєте, чистоту наблюдаете! — полковник повернулся к выходу.

— Ваше высокоблагородие, ваше высокоблагородие... Милосивец... отец родной... выпусти... освободи старика, — падая на колени, несвязно выкрикивал Серапион, — еды лишился... ночей не сплю! — По лицу старика текли слезы, он вздрагивал, нервно всхлипывал.

— Вставай, вставай, старик, — нехорошо в землю кланяться, говори, в чем дело?

— Выпусти, ваше высокоблагородие, отец родной, — поднимаясь с колен, дрожащим голосом говорил Серапион, — старик, жена, дочь... выпусти.

— Дмитрий Андреевич, старик срок испытуемых закончил?

— Не окончил, г-н полковник!

— Не могу, старик! Тебя выпущу, другим будет обидно: соблазняются, убежишь еще с воли.

— Куда я побегу, ваше высокоблагородие?! Едва поги та-екаю, из лазарета не выхожу: господин доктор знает. Старуха... дочь. Будь отец родной, извесься в тюрьме.

— Если камера за тебя поручится, что не убежишь, — подумав немного, проговорил полковник. — пожалуй, освобожу.

— Ручаемся, ваше высокоблагородие! Старик смиренный, убогий, не убежит, ваше высокоблагородие! — дружно поддержала камера.

— Ручаетесь? Слова назад не возьму... Дмитрий Андреевич, освободите старика, назначьте куда-нибудь сторожем.

— Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие! — дружной благодарностью провожала камера уходившего полковника.

Прошло около месяца; полковник попросил меня зайти к нему.

— Вы помните, доктор, что третья камера Средней тюрьмы ручалась за попа Серапиона?

— Помню.

— Вчера смотритель донес, что выпущенный поп бежал, т. е. скрылся: трое суток не являлся на перекличку, не приходил к амбару сторожить. По правилам о вольной команде, неявившийся трое суток зачисляется бежавшим. Я уверен, что поп запьянствовал, намыл золота и закрутил. Через неделю-две сам вернется, если спяна не утонет или не затеряется в тайге. Меня, главное, интересует, что скажет ручавшаяся за него камера? Как она отнесется к случившемуся побегу? Они были поручителями. Съездимте в тюрьму, вы в качестве свидетеля их ручательства.

Третья камера стояла навтыжку; бескандалный камерный староста Обрубов глядел в глаза вошедшему начальству.

— Здорово, камера!

— Здравия желаем, ваше высокоблагородие!

Полковник медленно начал прохаживаться от дверей к окнам, между стоявшими у нар арестантами.

— Камерному старосте за чистоту и порядок спасибо, спасибо камере за поддержку старосты.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие!

— За старанье спасибо... Месяц назад я заходил к вам с доктором, сейчас зашел с ним же; в тот раз камера ручалась, что выпущенный на волю поп Серапион не убежит, — он бежал... Я приехал вам заявить, что верить арестантскому ручательству больше не буду!

В камере минуты три стояла мертвая тишина: недоуменно повертывались бритые головы друг к другу, оглядывая начальство: видна была растерянность от неожиданности; камерный староста представлял столб изумления.

— Ваше высокоблагородие... так как опорочил... сделайте божескую милость, — вдруг отрывисто, возбужденно заговорил один из двух выступивших из рядов арестантов, — поручались.

дозволяете разыскать, вернем... камера поручится, тюрьма поручится.

Малорослый, бритоголовый, приземистый оратор путался в словах, заикался, запинаясь, недоуменно повертывая головой в разные стороны. Его длинный, сухопарый, с лицом в веснушках, с таракаными усами и рваной рубахе товарищ, беззвучно шевеля бескровными губами, стоял согнувшись, с наклоненной к нему головой.

— В чем дело? Как твоя фамилия? — спросил полковник оратора.

— Федор Брызгалин, ваше высокоблагородие, товарищ мой Непомнящий.

— Что вам нужно?

— Ручались, ваше высокоблагородие, опорочил камеру, арестантское слово... дозволяете разыскать. Неделя, не больше. Приведем. Предоставим.

— Ручались за попа, он бежал. Я приехал заявить: верить ручательству больше не буду! — направляясь к выходу, выговорил полковник.

Брызгалин и Непомнящий шага на два подвинулись за уходившим: их лица были напряженно-озадачены, глаза быстро пробегали по рядам стоявших; стоявшие молчали.

— Позвольте изъяснить, ваше высокоблагородие, — вытягиваясь в струнку, поедая глазами остановившееся начальство, заговорил камерный староста, — камера ручалась за попа, это точно, ваше высокоблагородие! Старик был смиренный, тихий, — между прочим в душу не влезешь: ручались жалеючи... Поп человек новый, порядков наших тюремных не знает, раньше в каторге не бывал, не обучался... Далекое не уйдет, всенепременно, ваше высокоблагородие.

— Кто вернет?! Не понимаю.

— Брызгалин, Непомнящий вернут, ваше высокоблагородие, камера поручает, — дозволяете неделю сроку.

— Брызгалин, Непомнящий вернут бежавшего попа?! Каким образом?

— Дозвольте им отлучиться, ваше высокоблагородие, — убежденно-серьезным тоном докладывал староста, — обязательно предоставят: Брызгалин, Непомнящий наши распоряжки знают.

— Попа выпустил, вы ручались, он бежал. Брызгалин, Непомнящего выпущу — кто поручится?

— Мы ручаемся, ваше высокоблагородие! — как один человек, выговорила камера.

— Поп, ваше высокоблагородие, наших распоряжков, обычаев не знал, — снова заговорил камерный староста, — Брызгалин, Непомнящий свою камеру не выдадут, поопасятся, ваше высокоблагородие, камера ручается. Снимите напраслину, ваше высокоблагородие, камера просит, ручается.

Полковник стоял в раздумьи, его лицо было сосредоточенно-серьезно, он смотрел через арестантские головы в неопределенном направлении.

— Брызгалин, Непомнящий, через сколько времени вернетесь? — вдруг неожиданно спросил он.

— Через неделю вернемся, ваше высокоблагородие!

— Я верю камере, верю арестантскому слову! Дмитрий Андреевич, раскуйте их, увольте на неделю, выдайте на этот срок проходимые свидетельства.

— Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие! — гудело вслед уходившему полковнику.

Через неделю загулявший на воле поп был доставлен Брызгалиным и Непомнящим в квартиру заведующего.

— Спасибо, арестанты! Вот вам по три рубля за труды. Брызгалин и Непомнящий, скажите по совести: оставлю вас вольной команде, — убежите вы или нет?

— Сбежим, ваше высокоблагородие!

Брызгалин и Непомнящий были водворены в третью камеру к ручавшимся за них товарищам.

НА УРА!

Июньское солнце 1873 года жгло немилосердно, раскаляя искусственные насыпи (отвалы) песку и гальки, окружавшие место карийских каторжных работ, высушивая, распыляя почву, нагревая орудия работы, кандалы, сковывающие ноги восьмисот человек, ружья часовых, цепью окружавших место выработки. Духота и тяжесть жаркого дня усиливалась совершенной неподвижностью воздуха, наполненного дымом горевшей тайги; солнце гускло, красным шаром просвечивало через опустившуюся над землей дымку.

Справа и слева долину огораживают горы, покрытые лиственничным и сосновым лесом с высоко выдающимися горами камня-валуна, набросанного природой по однообразному плану: крутые голые неравные стороны трехгранной формы с заостренной верхушкой. Террасообразно опускаясь к долине, горы теряли могучую растительность, сменялись одиночными чахлыми деревьями, кустами колючего ерника, горами камней, оторванных, снесенных дождевыми потоками от пирамидальных пиков, разнообразных углублениями почвы, наполненными ржавой стоячей водой, пнями вырубленного строевого леса. По видимому пространству горной покатости извивается единственная колесная дорога, поднимаясь зигзагообразно в гору; обходя встречающиеся препятствия, она теряется из глаз на вершине горного перевала.

У правого берега реки Кары, над пространством в четыре тысячи квадратных саженей, окруженном обработанными промывкой горами песка и гальки, нависло густое облако желтой пыли, поднявшейся от движения тысячи шестисот человеческих ног. Двигаются каторжные работники с посылками, нагруженными породой, наклоняются для ударов железным пудовым ломом, взмахивают руками с кайлами, железными лопатами, выпрямляются спины для новых ударов закованных по ногам людей, с грязными, потными лицами, с ошельмованными бритыми головами, в рваных рубахах и портах; в глотках у всех пересохло, томит нестерпимая жажда. Гудит в воздухе разнообразнейшая масса звуков от движения толпы, покрываясь лязгающим звуком цепей, толпаньем ног о твердую почву.

У часовых охранной цепи, поставленных по вершинам отвальных бугров, окружавших место работы, от долгого напряжения мелькают перед глазами не отдельные люди или группы людей, а сплошная бесформенная, серая масса, одноцветная с поднявшейся пылью, двигающаяся из стороны в сторону, смещиваясь в кучи, раздвигаясь, расплываясь, вызывая мозговое отупение, парализуя сознание времени и пространства; часто сменяет записной часовой постоянный: ружье, патронная сумка пригибают к земле уставшего человека.

Время подходит к полудню. Выгнанные с 5 часов утра на работу каторжные, — с этого же времени охранявшие их часовые, — напряженно ждут сигнального рожка для перерыва работы на два часа полуденного жара; запасные коницы и пешки казаки охраны, находясь вне оцепленного круга работы, собрались гурьбой «у флага» (единственный пункт, через который дозволяется вход и выход к работающим), висевшего, как тряпка, на высоком древке. Прикрывая глаза от солнца ладонью, собравшиеся смотрели на громыхавшую вдаль золотопромывательную машину, на висевший на дверке машины флаг, ожидая его спуска, как сигнала. Флаг опустился; загудели в воздухе резкие, звенящие отрывистые звуки рожка.

— Бро-о-са-а-ай! — подхватили сотни хриплых голосов.

— Бро-о-о-са-а-ай! — откликнулось горное эхо.

Разом шестисот человек побросали орудия работы: как набитые соломой кули, валялись люди на земле, вытягивая руки и ноги, закрывая от усталости глаза. Затихают в воздухе последние звуки остановившейся в движении толпы, резко проносится громкий, начальственный окрик:

— Посматрива-а-а-ай!..

Сгущаясь к поверхности, оседающая из воздуха пыль затемняет от наблюдения часовых площадь работы; ослабленное напряжением зрение часового доставляет ему наслаждение; внимание роковым образом нарушено...

Вскочил на ноги один из лежавших на земле каторжных: без шапки, босой, с ярко заметной подтобритой головой, в грязной

белой рубахе, с засученными по колена портами, согнувшись в дугу, он бросился бежать в направлении ближайшего звена охранной цепи часовых. Ползет беглец по крутому откосу отвала; из-под ног, рук сыплется песок и галька; судорожно сгибаются, разгибаются пальцы вытянутых рук, захватывая опору, работают босые ноги, подталкивая туловище кверху, бороздит песок плотно прижатый подбородок, вытянулась шея с напряженными венами, лицо покраснело, опухло, широко раскрыты глаза. Пропосится в сознании: «Сейчас... в упор... выстрел». Подбравшись к вершине, он одним прыжком проскочил часовых, кубарем скатился на другую сторону, поднялся на ноги и побежал между горами песка и гальки в направлении тайги...

Шесть часовых разом заметили мелькнувшего человека, но первое мгновение стояли неподвижно; опомнился крайний: автоматически взбросив ружье на руку, выстрелил, десять подчасков повернулись лицом к тайге, и началась торопливая стрельба по мелькавшему между буграми человеку...

— Посматрива-а-й! — пронесся дико-отчаянный крик.

Восемьдесят ружейных стволов направлены в сторону отдыхавшей в разрезе каторги, готовые засыпать пулями ошеломленных тревогой людей. Ни один из лежавших, сидевших не шелохнулся на месте, не поднялся на ноги, не приподнял головы, — все знали: покажись часовым общий сговор к побегу — и с высоты отвалов сотни пуль в упор перебьют, перекалечат сковавшихся по ногам людей.

На вершине одного из бугров, саженях в полутора, показавшись беглец: потоптавшись на месте, он вдруг упал на песок, ярко выделяясь на темножелтом фоне своей белой рубахой...

— Упал! Упал! Бей залпами! Бей залпами! — надрываясь, кричал приказательный голос, — умирался, сволочь, не уйдешь...

Выстрелы участились: пули взрывали песок около лежащего, поднимая в воздух желтые облачка пыли, вызывая молчаливое упорство убить человека... Беглец вскочил, взмахнул руками и скрылся за бугром.

— Го-о-то-во-о! — раздались торжествующие голоса.

К удивлению стрелявших беглец показался на плоскогорьи, в направлении видневшейся тайги...

— Бей залпами! Бей залпами!

Через бугры и промоины, с ружьями в руках бежали за беглецом четыре неших запасных «от флага» казака; берегом речки скакали шесть конных, стараясь, обогнув местность, отрезать бегавшему дорогу к тайге.

— Пос-ма-а-три-вай! — доносился в догонку поощряющий голос.

...— Мы стояли у флага, разговаривали, — рассказывал урядник Подшивалов, лежа на парах, своему товарищу, побывавшему в наряде, — жара, в глазах рябит. Проиграли отбой, каторга утомилась, вдруг выстрел, началась тревога. Глядим, а он

бежит! Мелькнет будто ком на бугре, и нет его. Мы с Василием и ружья, вдогонку бросились, были очередные. Упал он раз на бугре, его из цепи залпами, взмахнул руками, повалился, — думаем: «Слава тебе, господи! Готово!» А он, рассукин сын, на подгорьи показался и пошел стрекать и пошел стрекать. Бежим мы за ним с Васильем в гору, задохлись; четыре раза по нем стреляли, сажень может на сорок. Припадает он — язвы его в брюхо, — как заяц к земле, проползет на карачках сажень итй, вскочит на ноги и опять бежать. К лесу мы окончательно задохлись, в глазах круги, в голове стучит, руки, ноги трясутся. Прискакали конные казаки — его и след простыл! Заскочил в тайгу, как сквозь землю провалился. Конница версты четыре по лесу ездил, с ничем вернулась, — руга-ют-ся-я!

— Смелость какая, — помолчав, раздумчиво продолжал рассказчик, — под сотнями пуль, среди белого дня больше версты бежал. Знаешь, что я думаю, Петро? Слава богу, что нам с Васильем не удалось его убить: живой человек, человеческая душа... Как полагаешь?

Ответом на вопрос был громкий храп уснувшего товарища; через пять минут крепким сном спал и рассказчик.

„РЕШЕННЫЙ“

В начале октября 1872 года в здании управления нерчинской каторгой пред военным судом ссыльно-каторжный Антон Горшков, 47 лет от роду, покушавшийся на жизнь тюремного приставника Потемкина, показывал:

— Я терпел, все терпели, вся тюрьма...

Пришел я в каторгу недавно, в эту весну; раньше в каторге не был... Золото он отнимал; найдешь во время работы в разрезе золотины, обыщет, — отберет! Из рта, из носу вытащит; по шее, по зубам набьет, — окровавит... Смотрителю пожалуешься, тот прибавит второе, — наказывают: ста два розог примешь; в лазарет не отправляют, — так и ходишь на работу, черз заводится... Битва со всех сторон! Пятак денег в кармане отыщет — отберет... Трубку, спички, табак, кисет, шило, иглолку найдет — отберет... По закону не дозволено держать, не полагается! Отдаешь, потому отбирает, а жалко. Где взять? По носу ударит, кровь потечет, искры из глаз сыпятся... Пятак, иголку, золотины жалеешь; наше житье известное — тюрьма да работа... Точил он нас, как ржа железо, ел с утра до вечера... Дадут ему пятак, гривну — отдых дает, передышку, в тюрьме на день от работы оставит, в слабосильные поместит, не выгоняет на работы... Где нам, ваше благородие, деньги брать? Пятак, гривна — большие деньги.

Слышал я о Потемкине по этапам, когда в каторгу шел; за Иркутском товарищи по партии рассказывали, в Каре, на катор-

ге бывали... — «Аспид, кровопийца Потемкин приставник. Бог смерти ему не даст!» Так и шли, разговаривали; больше всех Непомнящий рассказывал, мы слушали... Не я один слушал, все слушали; на этапах мало ли народу собирается: бабы, ребята, наш брат кандалный, — всякого народу довольно!

С этапам и дело началось, ваше благородие, там о Потемкине слышал... Крест на шее увидит серебряный, себе возьмет. «Серебро на каторжном положении иметь не дозволяется!» Что нам с ним было делать? Покорались, пока сил хватало. В Кару я пришел, в Верхнюю тюрьму зачислили, к нему под надзор попал, — сразу и началось! Каждый день новинку придумывал. Не тому, так другому досаждал. Приставников Титыча, Маюрыча каторга хвалит, люди старые, незлобивые: покричат, поругаются по службе, а души не трогают... На ругань и брань на них не злобятся, любят по-своему, оберегают стариков... На Потемкина все злобились, — как ржа точил всех, душу выворачивал...

На работу, в разрезе, изо дня в день ходишь, ваше благородие: ночи в тюрьме сидишь, — положение известное. Тоска порой захватит, себе не рад, — руки на себя накладывать впору, а Потемкин за душу берется, крест снимает, материнское благословение... Давай пятак, гривну, крест снимай... Где нам пятаков набрать?

Я не запираюсь, ваше благородие, ударил Потемкина, кайлой ударил — будто по голове — не помню я хорошенько, в безумствии находился... Работали мы в разрезе, нас восемь человек в артели находилось; я тачку возил с породой на машину, золотины попадались в породе, это верно... Увидишь золотины — возмешь из породы: видна она, у всех на глазах, — пить, есть хочется; табак, калач купить; каторга на мать родную не похожа. В уже у меня не было убийства, работал с артелью положенное: кубическую сажень породы отдай артели. А как ее отдать? Тысячу пятьсот пудов породы ломом, кайлой не скоро отобьешь; с утра до вечера, не евши, не пивши, в тачке возишь на машину, кандалы тоже мешают при ходьбе... Кормят нас в тюрьме вечером, когда с работы возвратимся; с вечера до другого вечера не евши работаем... Золотины попадаются на глаза не часто: в неделю раз попадет, в другой раз месяц золотины не выдашь; в породе разглядеть трудно... опаску имеешь, обыскивают строго; золото казенное... в земле оно находится. Каторга говорит: «Воровать золото не грех, люди его не сеяли, не выращивали»... пить, есть хочется всякому, — вот и берут!

В понедельник рожок проиграл на отдых, — жара была, духота, улеглись артелью спать; спать не спали, отдыхали, может, кто и спал из артели — не знаю... Никто худого про Потемкина не говорил: мало ли нашего брата быют и обыскивают! Я на речку сходил, воды напил; умаялся, с вечера не евши... Фла-

на посту дежурный, рожек проиграл на работу идти; кашни мы к кабину, за лом, за тачку, лопату взялись; урок доработывали. Я кайлой помогал, породу отбивал, забой уравнивал; тачкой на машинку породу возил. Нагребли мне тачку, на машинку полез, кайлу сверху породу положил, — так всегда делается: съезжит породу, кайлой ее из тачки отбиваем, чтобы в лодку высыпался. Подошел я на машинку с тачкой, остановился в дверях за очередными... дожидаясь, в уме ничего не было, глядел по сторонам... Подбег ко мне его благородие Потемкин, под рубаху руку сунул, в штаны полез обыскивать; спустил штаны, обесил... В рот пальцы затолкал; язык вытянул... «Подай, раскуши сын, золото! куда сиротал? Говори...» Стыдно мне стало, ваше благородие... Народу на машинке много, смеются, зубы скалят, смотрят на меня, а он язык мне изо рта вытягивает... Я толкнул от себя его благородие, взял кайлу и... ударил... Больше ничего не знаю, всю правду сказал... Это благородие ундел, и поднянул штаны и пошел обратно к артели, в разрез... Спусти лесного времени казаки меня забрали, руки скрутили веревкой, прикладами били... В сговоре ни с кем не был; на работу шел... об убийстве не думал; с вечера не спал был. Ночь спал, голова не болела... зачем напрасно говорить! болезни никакой не было. У исповеди, пришествия давно не был, — по тюрьмам, этапам какая исповедь! Пешком шли зиму и лето; в Томском я оставался, в больнице лежал: нога, как бревно, затвердела, резали ногу; оставался, пошел дальше по этапам... Судился за убийство; жена, дети в России остались... Винават я, ваше благородие, больше ничего не знаю!..

Закованный по рукам и ногам, Горшков стоял между двух конвойных; в течение шести часов заседания суда он ни разу не приподнял головы, не смотрел по сторонам; изредка вздрагивали его плечи: как бы отряхиваясь, он поводил ими и снова стоял неподвижно... При объявлении смертного приговора «сверх повешенного» он изогнулся, поднял голову, широко раскрытыми глазами окинул заседание судей, сглотил рот в подобие улыбки. Он тяжело дышал, долго и зло изрыл себя крупными каплями пота... Заседание суда объявлено закрытым, Горшкова отвели в бокс часа раньше казнили...

Винават не был Горшкова приговорен к казни, но был болен крупным воспалением легких; освободить от кандалов его не позволили, и в ногах кровати был поставлен отдельный часовой. Несколько дней Горшков находился в бессознательном состоянии; громко и четко призывал в бреду жену Ольгу, детей Ваську и Матрешку; распоряжался по хозяйству. Вырывались болезненно утраченные восклицания, больной перывисто вскакивал с кровати, позвякивая кандалами, вытягивая скрюченные руки, угрожающе размахивал ими, производя однообразные движения сверху вниз и обратно. Минувал кризис, началось улучшение: выздоровление было несомненно, появился аппетит. Боль-

ной свободно лежал на палате... В конце ноября из управления каторгой получился предписание:

«Приговор о Горшкове утвержден генерал-губернатором; исполнение назначено в 7 часов утра, 23 ноября, на возвышенном месте среднего разреза, где совершено преступление; предписывается явку казненного присутствовать, при совершении казни». Узнал об утверждении приговора и Горшков.

Наступила последняя ночь пребывания Горшкова в лазарете. Палаты осветились салными свечами в деревянных фонарях, подвешенных на бечевках к потолочным блокам. Было особенно сумрачно в девятой палате, где только один часовой, стоявший у кровати Горшкова, нередко нарушал тишину стуком ног и ст. ружейного приклада. Было около полуночи, я проходил по палате...

— Ваше благородие, доктор! поспид со мной, завтра на казнь... слышал... судьба! Тяжело, — не знаю как ночь скоротать... — глухо, перывисто заговорил Горшков. Он сидел понерек кровати, опираясь спиной о печку, опустив на пол закованные ноги, низко склонив голову. — Сам я виноват, винить нечего... Зачем вылезал, трудился напрасно? Лучше бы помереть без памяти... Потумасов, как смерть наделся...

Он замолчал, не приподняв головы. Сальные свечи маяли в фонарях, тускло освещая середину палаты, оставая в полумраке кровати у стен; Горшков дышал тяжело: слышались хрипы в груди и, казалось, судорога шейных мышц ниже и ниже наклоняла его голову...

— Умирать надо и будет надо, — заговорил он, захлебываясь словами, — да не постыдится умирать приходится... Вот вы судья! Тяжело мне, тошно...

Послышались отрывистые без слез всхлипывания: широкими расширенными, остановившимися глазами смотрел он в пространство, вздрагивал; кандалы позвякивали на ногах... Закрыв закованными руками лицо и бороду, он горло расклевывал по сторонам в сторону...

— Жизнь наша тяжкая, горе-горькая, — всхлипывая, говорил он, — а жалко расставаться... Солнышка жалко, света божьего дневного... Жена в деревне, дети остались, не помню ни одной, — куда им! Пашка была, сенокос, домишко, скотинка... Тяжело, не ухажу. Христа ради, поспид со мной, был казнен... Помогите бы, да руки скрутили... бегите начастей, да выйдете, как бы не убивая Горшкова, — и он улыбающийся улыбка поменанного, скривил губы с правой стороны рта, и до конца ржалась на его губах странная, безжизненная улыбка...

Утренний, морозный туман охватывал окрестность среднего разреза, когда мы с фельдшером Иваном Павловичем подъехали к месту казни; в воздухе стояла тишина тридцатигра-

душеного мороза. Восточную сторону машины полукругом охватывала серая масса кандалных, выгнанных из тюрьмы в качестве зрителей; цепь часовых огораживала толпу и свободную сторону, образуя круговое, оцепленное пространство. На перекладинах машины, сажени на полторы от поверхности земли, видна квадратная площадка, к западному краю которой приставлена обыкновенная лестница; над площадкой на перекладине висела веревка, не достигавшая площадки аршина на полтора. Около лестницы стоял палач Сашка, в полушубке, круглой шапке и валенках сапогах: он переступал с ноги на ногу, тер лицо руками, одетыми в рукавицы, тер уши и шею. Саженьях в пяти стоял полицмейстер Апрельков, смотритель тюрьмы Одинцов, приставник Потемкин и два зауряд-офицера.

— Спали ночь, доктор? — здороваясь, спросил полицмейстер.

— Плохо спалось, Петр Николаевич...

— Напрасно! Я наоборот, — заговорил он, поглядывая на часы, — как к христовой утрени готовился: залег часов с семи, чтобы не проспать возложенное поручение... Закусил, выпил и спал превосходно... Распоряжения послал с парочными; отца Ивана к Горшкову отправил, как полагается по закону, проводить честь честью, с ним батько и приедет. Скоро должны быть, время назначено точно...

— Я спал тоже хорошо, — заговорил зауряд-сотник Токмаков, пожилой человек, с деревянным лицом, с закуржесевшими от мороза бакенбардами и усами. — скорее бы покончить! Мороз — ноги, руки захватывает; водки не захватил, погреться нечем.

— Сейчас привезут, надоело и мне ожидать на морозе, — проговорил полицмейстер, — приговор приведется читать, на площадку забираться...

— Везут! везут! едут! — раздался громкий подушенный в серой, кандалной массе; все сразу вытянулись, наступила мертвая тишина...

Я взглянул на приставника Потемкина: он стоял с разинутым ртом и широко раскрытыми глазами: лицо дергалось судорогами; он часто мигал, кусая губы...

Из-за поворота реки с грохотом выехала запряженная парой быков телега, окруженная конвойными. Облако пара с шумом вылетало из поздней побелевших от мороза, тяжело дышавших животных, плывя по морозному воздуху, приближаясь, постепенно увеличиваясь в очертаниях, закрывая сидевших в телеге... Пронесения остановилась. На поперечной перекинутой доске, спиной к быкам, в полушубке, в круглой с ушами шапке сидел привязанный Горшков; борода, усы были белы от мороза; лицо, уши, шея красны, как кумач; он судорожно вертел голову направо и влево, как бы стараясь заглянуть позади себя... Сидевший с ним отец Иван торопливо вынул из-под ряссы крест, приложил к его лицу и вылез из телеги. Горшков опустил голову... Поя-

вился палач Сашка, развязал веревку и свел его на землю. Подходя к лестнице, Горшков оглянулся по сторонам, остановился на секунду и громко проговорил:

— Прощай, доктор! Не поминай лихом...

По прочтении приговора на площадке Горшков поклонился в сторону кандалных:

— Я хотел убить Потемкина, это правда. Бог ему судья! Не написано в приговоре, за что я хотел убить его...

Сашка скрутил ему на спину руки, набросил на голову холщевый белый мешок, надел на шею петлю веревки и выдернул из-под ног доску, веревка не выдержала, повешенный рухнул на мерзлую землю... Поднялась суматоха. Подбежали полицмейстер и Сашка... Подавая палачу круглый, красный шнурок, полицмейстер торжественно говорил:

— Доканчивай скорее, доканчивай...

Бледный, растерявшийся Сашка трясущимися руками сделал на шнурке петлю, накинуд на шею хрипевшего, корчившегося Горшкова, уперся ему коленом в грудь и минуты три, не изменяя позы, затягивал петлю... Горшков раза два дрогнул, вытянулся и стал недвижим...

ГУЛЯНКА

В числе других дал согласие и я: «почтить, по подписке, в квартире полицмейстера прибывших из областного города председателя военного суда, майора Жаматина и аудитора суда Семена Петровича как людей, потрудившихся на общую пользу».

С семи часов вечера начали сходитьсь приглашенные. Вошел смотритель каторжного лазарета, в чине зауряд-хорунжего. Афанасий Христофорович Совраев. Коренастый, среднего роста, с одутловатым, мясистым, широким смуглым лицом, с выкатившимися глазами.

Поздоровавшись с хозяином и выпив по приглашению водки, Совраев спросил:

— Начальник каторги, командир батальона будут?

— Должны прийти, приглашал, обещались, все обещались.

— Что нам начальник каторги, командир батальона? Мы и без них выпьем, в карты сыграем, случай подойдет — подеремся, — громко говорил входивший в комнату есаул Никифоров, заставленный в каторжный сводный батальон, как последнее для него место военной карьеры. Вошедший был, что называется, в «угаре». — Невидаль какая, начальник каторги, командир батальона! Для вас — страх и сила, для меня — наплевать. Выпить, с вашего позволения. — я понимаю; все остальное плевать не стоит, ей-богу, правда! Будет день — будет хлеб, будет хлеб будет и подка, так говорят порядочные люди. Здравствуйте, господа, прошу любить и жаловать.

Пожилой человек лет сорока пяти, с красивым, симпатичным, хотя и обветренным лицом, с голубыми открытыми глазами, с седыми прядями в темных волосах, Никифоров держал себя сдержанно, непринужденно: было видно, что когда-то человек вращался в противонаправленной настоящему обстановке.

Никифорова не любили за «дерзкий язык»: не стеснялся, он обвинял чиновников «кнутобоями», «грабительской командой на чуждом содержании», «севастьяновскими интендантами». Практиковавшиеся на Каре способы «усмирения строптивых» в виде кулачной расправы «схилом» или «в одиночку» в отношении Никифорова оказались неудачными.

Играли в карты, Никифоров метал банк, партнеров собралось человек десятков. Смотрительно тюрьмы Одинцову в начале игры карта «везла»: с шуточками, прибаутками забирая он выигрывал деньги; под конец игры карта изменила, он проигрался. Не предупредив банкомета, Одинцов поставил на карту крупную сумму.

— Ваша карта бита, позвольте деньги.

— Денег нет, в долг поверьте, не убегу: не велика штука потерянная.

— В долг в карты не играю: ваши карты бить не буду.

— Как? Мне не веришь? Мне, смотрителю тюрьмы?

Совершенно справедливо: в картах отцу родному не по-вину.

— Зазнался, пропойная сволочь, проучки захотел! — и Одинцов через стол схватил Никифорова.

Раздался выстрел, все шарахнулось в стороны. Одинцов с криком «убить» повалился на пол. С бледным, подергивающимся судорогами лицом Никифоров подошел к валявшемуся на полу и шепнул ему саногом.

— Раз навсегда заявляю, господа, — усаживаясь за стол, закричал он громко, — все позволается, но особа моя на счет мордобития неприкосновенна: об этом вы знаете раз навсегда! Кто ставил карты? Пожалуйте, инцидент окончен.

У Одинцова оказалась содранной кожа нижней части правого уха и смаленным газами лицо. Тем история закончилась.

— По нашему каторжному положению, что ни прохвост, то и особа, — вынимая и закусывая, продолжал Никифоров. — Все мы, здесь в Каре, особы с коровьим брюхом и толоконной головой. Не сердитесь, любя говорю; осердитесь — ваше дело; мое дело — сторона. «Кара-речка так богата, в один лето сто нул злата я берусь намыть». Так, кажется, каторга поет? Рекомендую, неслия вразумительная. За здравие хозяина и всех вас, православных христиан, вкупе собравшихся. Уррааа! В каторге, ей-богу, служить можно! Разбойники, грабители по тюрьмам сидят, честные люди их окарауливают: оголтелое место, а мы ласковые. Закладывать, что ли? Пятьдесят рублей в банке.

Подождем, Алексей Федорович, полковника, — обратился

к нему хозяин, — председатели суда ожидаем, но их приходе — сколько угодно.

— С удовольствием! Будем ждать, коли хозяин просит: что сейчас проигрался, что после — разница небольшая. Пока суд да дело — выйдем за здоровье ожидаемых. С вашего позволения, и за здоровье присутствующих. «Всякая беда — не беда, когда водка имеется да девка на придачу», — говаривал монах, отбивая земные поклоны, палоченные на него настоятелем монастыря, за чрезмерное пьянство и непотребную жизнь. Мы не монахи, нам и бог простит! За ваше здоровье драгоценное...

Около стола с питьями и яствами толкалось человек пятнадцать: чокались рюмками, жевали мясо, перебрасываясь отрывочными фразами.

— Первая колом, вторая соколом, с третьей мелкая птишка.

Пожалел хозяин водки, колом застряла в горле, требуется вторая рюмка для прочистки.

— Водка, закуска — общее, хозяина не имеют.

— За ваше драгоценное.

— Вам того же желаю.

— Был на заседании суда?

— Опоздал; да ну их к чёрту! Без меня к веревке присудили.

— Молодчина председатель, укомплектовал Горшкова, другим повадно не будет.

Комнаты наполнились табачным дымом, становилось душно и жарко, пахло жареным мясом и водкой. Зажженные на столах стеариновые свечи казались окруженными туманом, с колеблющимися красными кружками над пламенем. Любители на трех столах играли в «генеральский», председатель играл с аудитором визави; полковник и командир батальона прислали записки, — «по недомоганию» прибыть не могут.

— Начальства меньше, нашим легче; пользы мало, беспокойства короб, — проговорил Никифоров.

— Четвертые черви.

— Пас.

— Без козырей.

— Потянула Маланья в гору, что немазаная телега.

— Пропадай моя телега, все четыре колеса.

— Без трех, важная штрафенция.

— Выпить, господа, выпить, закусить, чем бог послал.

— За ваше здоровье! Не в злость, не в осуждение.

— Петр Николаевич, хозяин дома сего! Зачем фальшивить? Себе половину рюмки, нам полняком. Я пить не буду.

— Ве-ерно-о-о! Пить следует по совести. Горшкова за упокой помянуть. Ха-ха-ха! Спасибо председателю, укомплектовал мерзавца. Ура председателю суда!

— Всякую сволочь поминать, много чести...

— Вы-пи-ть следует, по-о-со-о-ве-сти-и, — тянул пьяный го-

лос. За а-здо-оровье-е-е пред-се-еда-ателя, чтобы ч-ё-ё-ёрт его-
по обр-ал!

Уррра майору, качать майора!

Майора подхватили и минут пять подбрасывали к потолку
на руках.

— Спасибо, спасибо, повадки не дали, нас, карийцев, огоро-
дили от мерзавцев.

— Не го-о-во-ори-и-и! По-о-мо-о-ему-у-у, Горшкова-а-а пове-
сят за-а шею, Потемкина-а рядо-ом с ним за-а но-о-ги... Ха-ха-
ха! Один дру-уго-ого-о сто-о-ит.

— Музыкантов сюда, плясунов! Ой, жги, говори, рукавички
барановые!

Ходи барыня, ходи печь,
Хозяину негде лечь...

— Валяй барыню, камаринскую!

В передней раздались звуки плясового мотива трех скрипок
и бубна доморощенного оркестра из двух казаков батальона и
двух каторжных вольной команды; наигрывали «барыню». По-
вескакании из-за столов, игроки и не игравшие образовали сре-
ди комнаты круг, в который с криком, присвистом, щелканьем в
ладони, приседая и притопывая каблуками, волчком вкатился
есаул Никифоров и грузный смотритель Одинцов. Началась бе-
шеная, присядочная пляска, с быстрыми вытягиваниями ног па-
раллельно полу, с громкими звукоподражаниями в мотиве наиг-
рываемой «барыни». К плясунам прибавились новых две пары,
и беспорядочно-шумная, дикозахватывающая пляска минут
двадцать занимала общее внимание. Пьяный Совраев, попробо-
вавший пуститься вприсядку, упал на пол и лежал на животе,
при общем хохоте выделявая самые смешные движения.

— Ха-ха-ха! Го-го-го! Bravo! Брависсимо! Валяй, ребяташки!

Барыня, барыня, сударыня барыня.
У барыни огурцы, ее любят все купцы.
Барыня, барыня, сударыня барыня.
У барыни огород, ее любит весь народ.
Барыня, барыня, сударыня барыня.

В душной, пропитанной запахом водки и пота комнате сто-
ял грохот и гул от топтанья ног, выкриков песни, и весь этот хаос
звуков покрывался диким выкриком отборнейшего, матерного
ругательства, ни к кому не относящегося, никого не оскорбляю-
щего.

— В штосс, господа! Сто рублей в банке! — раздался гром-
кий голос майора Жаматина.

Пляска и песни прекратились.

— Иде-е-т! Пять рублей двойка.

— Три рубля карта.

— Угол от пяти. Па-а-азвольте получить.

— Бита попадья, чтоб ей пусто было, до того света не
доехать...

— Выпьем, Ваня, выпьем, Христа ради, за здоровье хозяина.

— Урррра хозяину дома!

— Три рубля око, четвертная мазу.

— Транспорт с кушем, по кушу очко, и... и... пятьдесят рублей
мазу.

— Обмишулила чёртова карта! Ваня-я, друг дорогой, налей
рюмочку, Христа ради, на счастье. Не ве-езет! Полнее наливай.
Ванечка, да кусочек хлеба махонький. Проигрываюсь.

— Языком закусывай.

— Пятьдесят рублей карта. Па-а-азвольте получить...

Ходи, барыня, ходи, печь,
Хозяину негде лечь...

Ваша карта бита...

Чтоб чёрт ее забрал!

Вст в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом.

— К чёрту Пальмерстона! Попа Ивана вместо Пальмерсто-
на, поддержит святительским благословением.

— Смею доложить, развеселый у нас попина, господин май-
ор, удалая головушка, мастер на все руки, рекомендую познако-
миться. Вприсядку плясать, с бабами играть — в грязь лицом не
ударит.

— Здо-оро-овый попина! Двух молодых баб для малых дету-
шек содержит, третья приходит изредка, объясняет вдовым по-
ложением. В женской тюрьме, вместо исповеди, большие опусто-
шения производит. Верно говорю! Молодчинище.

— Послать за попом нарочного.

— Прикатит сейчас, ручаюсь вам, господин майор; хлебом
не корми, гулянку подавай; карты слышит, обедню служить
бросит.

Поп Иван не замедлил явиться. Поджарый, высокого роста,
борода клином с проседью, с лисьим выражением лица, с ласко-
во-лукавыми бегающими глазами, лет сорока восьми, одетый в
шелковую голубую рясу, он сразу внес оживление.

В минуту жизни трудную, стаив на карту сторублевую бумаж-
ку, поп Иван прищуривал глаза, пригибал голову к левому пле-
чу и, молитвенно вздыхая, приговаривал:

— Грехи наши тяжкие! Грехи наши тяжкие! Грешим перед
господом богом: плоть человеческая немощна, во грехах родим-
ся. Моя карта взяла, чадо мое милое, любезное. Позвольте запо-
лучить неотъемлемую собственность. Ай, дамочка бубен, знает

кралечка, где звон! выручила красавица, поцеловать тебя на удачу. — Поп целовал карту, сжимал в кулак полученные деньги и торопливо засовывал в карман подрясника.

— С тобой, отче, в ад не страшно, ей-богу, правда! Самому сатане зубы заговоришь, всенепременно.

— Всеу взываешь, чадо, отца духовного осуждаешь. Плоть человеческая немощна.

— Твоя плоть, батя, немощна? Отца-то Ивана? — пьяным, хриплым голосом заговорил Совраев, оборачивая к игравшим скуластое, широкое лицо с оскаленными зубами. — Твоя плоть, батя? Неве-рно! Вот тебе Христос — неверно! Ставь пополам сотенную на счастье, получай денежки. Забирай, батя!

— Истину глаголеши, чадо мое милое, неразумное: по писанию, ослицы говорили человеческим голосом. Идет карта пополам на твое счастье.

— Для чего берешь, батя, в дом свой красивых каторжанок? — назойливо приставал с вопросом пьяный. — Разных мастей подбираешь: одну черненькую, другую беленькую — изъясни, батя?

— Для детушек малых прислугу выбираю, для сироток. Вдов бо есмь, за грехи наказан, одному с ребятами не справиться. — Не пой, батя, Лазаря, не представляйся казанской сиротой, — подходя к столу и ударяя по спине попа, проговорил Совраев. — Ваша жеребьячья порода известна.

— Ваша карта бита, отец Иван! — кидая на стол карты, заявил банкомет, — туз лег направо.

— Лезет чёрт знает с чем! Как банный лист пристал к человеку, отвязаться невозможно! — со злобой в голосе заговорил отец Иван. — Под руку в картах говорить — подлость. Пристал хуже сатаны, из-за него проигрываешься.

— Не-е бу-у-ду-у, ба-атя-я, ей-богу, не буду! Прости, Христа ради. Пошутил я с приятелем. Отсохни язык, не буду. Поцелуемся, батя. Друзья мы с тобой закадычные, добра тебе желаю от всего сердца, ей-богу, правду говорю. Поцелуемся, батя.

— Отстань, Христа ради! Не до поцелуев, когда карту бьют.

— Разлюбезное дело.

— По банку! — раздался хриплый голос, все насторожились, наступила тишина.

— Ваша карта бита.

— Чтоб чёрт ее забрал! Сколько?

— Сейчас подсчитаем.

Полицмейстер проигрывался; сосредоточенно, молча, с посережним, потным лицом ставил он карту за картой; торопливо вынимал из кармана деньги, комкал в руке и бросал на стол; при каждой битой карте руки его вздрагивали.

— Пе-е-тя-я! Пе-е-тя-я, друг закадычный! Люблю я тебя, — обратился к нему Совраев. — Поставь на счастье Горшкова, ей-богу, правда! Висельники счастье приносят, веревка повешенного

клад для игрока. Бери сто рублей, ставь пополам. Кррровью и потом денежки заработаны.

— Идет! — отозвался суеверный в душе Петя.

Поставленная карта была дана.

— Урррра! наша взяла! — расталкивая стоявших у стола, заорал во все горло Совраев; забрав деньги, оскалив зубы, он глупо улыбался, растягивая между пальцами собранные бумажки. — Кровью и потом нажитое не пропадает.

— Во-о-ри-и-на-а! — раздался громкий голос.

— Что-о-о?!

— Не мешайте, господа, другим играть, когда сами перепились до безобразия. Какая может быть игра при криках и ругательствах? Ставьте карты хоть на чёрта, а другим не мешайте.

— Ты кто такой? Что за хозяин проявился? Я здесь за свои деньги что хочу, то и делаю. В морду хочешь?

— В морд-у-у-у-у?! руки коротки, отскочишь.

— Вот тебе отскочишь!

От удара по лицу Одинцов свалился на пол, началась остервенелая драка. Все повскакали на ноги, окружили бойцов плотным кругом. Одинцов и Совраев катались по полу, оглашая воздух ругательствами.

— Валяй его, Афоня! Под микитки, под микитки. Ха-ха-ха!

— Полюбовное межевание между приятелями.

— Ты кусаться, рассукин сын? Вот тебе! — было слышно, как стучала об пол голова оказавшегося поднизом Одинцова.

— Карррау-у-ул! Грабит!

— Кто тебя грабит? кто тебя грабит?

— Тащите за ноги петухов, растаскивай!

— Довольно, довольно. Ха-ха-ха!

Бойцов растащили за ноги в разные стороны, около каждого собралось человек по шести, десяток рук удерживали их на местах. Истерзанные, окровавленные, со всклоченными волосами, в разорванных сюртуках, они с ожесточением переругивались.

— Сволочь, подлец! Кнутобой! всю каторгу ограбил.

— Раздавлю!

— Образица! Недаром тебя каторжанки в парашку головой окунули, юбочный грабитель.

— Полноте, господа, бросьте ссориться, успокойтесь, Христа ради. — примирительно говорил отец Иван, подходя к тому и другому из переругивавшихся. — Собрались на гулянку хорошие люди, сослуживцы, приятели и вдруг... ссора ни за грош, ни за копейку. Ради меня, отца вашего духовного, примиритесь, пожалуйста.

— Ве-ери-о, батя, выпьем за мировую! Петр Петрович, Афанасий Христофорович, будет вам, побаловали немного и в сторону.

— Подводи петухов, подводи! Не будут пить, заставим, насильно вольем в глотку.

Бойцов свели и заставили поцеловаться.

— Давно бы так, по-хорошему.

— Отчего не выпить, — плаксивым голосом, со слезами на глазах говорил Одинцов, беря в руку рюмку.

Из его носа текла кровь, из глаз слезы. Он обтирал левой ладонью лицо, размазывая кровавые пятна.

Совраев сел около стола с выпивкой, закрыл лицо руками и горько рыдал.

— Петя! Петя! За что? Разве я тебя не-е люблю-ю? Всею моею душой. Голубчик! Четвертная за тобой долгу, разве я требую!

— Будет тебе, Якуня-Ваня, сопли распускать, водку выпьют, тебе не оставят.

— Вре-е-ешь?!

— Ей-богу, правда.

— Пого-одят! Моя денежка не шербата, кррровные заплатил. Батяня, выпьем со мной! Сирота-а я убо-о-огая, выпьем! — подходя к отцу Ивану, плаксиво всхлипывая, тянул Совраев. — Обиде-ели-и меня.

— Будет тебе, будет! Полно, голубчик, иди умойся. Я выпью. Отчего не выпить с приятелем? С удовольствием. Люблю вас обоих. Грех ссориться, тяжкий грех. Поцелуйтесь, а я за примирение выпью.

— Обидел он меня, кровно обидел.

— Будет тебе, казанская сирота! Подходи к столу, когда товарищи добром просят.

Враги поцеловались, чокнулись с компанией рюмками, вторично поцеловались уже без всякого настояния.

— Урррра отцу Ивану, смирительно грешных, укротительно строптивых!

— Качать отца Ивана...

— Подхватывай!

Поднятый на руках отец Иван взлетал к потолку, его голубая шелковая ряса развевалась по воздуху.

— Да будет над вами, чада мои, Петр и Афанасий, — поставленный на ноги, задыхающимся голосом, говорил отец Иван, — мир, любовь и в человецех благоволение! — И трагически взмахнув руками над головами стоявших, повернулся к зеленому столу и начал выбирать из колоды карту.

— Петя-я, за что ты меня обидел? кровно обидел! — сидя в обнимку с Одинцовым, плаксиво говорил Совраев.

— Прости, друг, выпьем. Угости меня сегодня прачечкой Машей, хороша-ая-я бабеночка.

— Идем, Петя, друг ты мой! Чем богат, тем и рад.

Обнявшись, оба вышли из комнаты.

Часа в четыре утра игра закончилась; многие из приглашенных по бессилию уснули тут же, кто где мог найти себе подхо-

дящее место. Дольше всех играли председатель, отец Иван и полицмейстер.

— Баста! На сегодня будет, пора на покой грешному телу, — кладя на стол карты, заявил отец Иван. — Плоть человеческая немощна.

— Будет, так будет! — согласился банкомет-председатель.

Майор-председатель спал сном праведника в отведенной для него и презуса квартире, когда часов в шесть утра с пятью вооруженными казаками в его квартиру ворвался полицмейстер.

— Отдавай назад выигранные деньги! Не отдашь — отберу силой: азартные игры законом воспрещаются.

Перепуганный майор выбросил деньги и, ни с кем не простившись, в тот же день выехал из Кары.

„ЗА ВОЛЕЙ“

Прохладным, ясным, бодрящим августовским утром 1875 г. я шел по Нижней Каре в направлении каторжного лазарета; около здания управления каторгой повстречались человек пятнадцать каторжных больной команды; между ними четыре-пять женщин.

— На работу направляетесь? — спросил я встретившихся.

— Никак нет, господин доктор! Идем в управление «за волей», сроки окончили, по волостям, на поселение, уходим, — раздались громкие голоса.

— Поздравляю! — невольно вырвалось восклицание.

— Покорнейше благодарим! Слава господу, закончили...

Я повернул за ними, взглянуть на людей, получающих «волю».

Большая квадратная с закоптелыми стенами и потолком комната с длинным, некрашеным столом между окнами была полна народу. Мужчины, женщины средних лет, старики, старухи в серых арестантских одеяниях толпились в пространстве, между столом и дверью, опасливо кашляя в кулак, кряхтя, тяжело вздыхая, любопытными глазами рассматривая лежавшие на столе бумаги, сидевших с наклоненными головами писарей, чиновника-делопроизводителя, небольшого юркого человека с круглой щетинистой головой, с оттопыренными ушами, безусого, безбородого, в форменном казацком сюртуке. Скуластое, желтосмуглое лицо с косыми прорезами черных глаз было недовольно, припухло: он ерзал по столу, свертывал папиросу, закуризал, клал на край стола, снова подносил ко рту, изредка покрикивая:

— Эй, вы, каторжная прощелыга, чего шумите? Посади свинью за стол, она и ноги на стол! Не забывайте: сроки окончили, розги при нас остаются... Чему обрадовались? Скорехонь-

ко в Кару вернетесь: повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сложить...

Не выпуская из рта дымившейся папиросы, делопроизводитель то и дело вставал на ноги, оглядывал комнатные стены, потолок, смиренно стоявших людей, садился на стул, заглядывал под стол, уходил в смежную комнату; возвращаясь минут через десять, садился на председательское место, принимался перебирать, разглядывать лежавшие перед ним на столе бумаги.

В канцелярии дожидались выдачи «воли» шесть стариков от шестидесяти до восьмидесяти лет от роду, с седыми головами, бородами, клеймовыми знаками на лбу и щеках, с морщинистыми лицами, согнутыми спинами, с красными, медными шеями, сквозь морщинистую кожу которых виднелась пульсация шейных артерий. Стоя впереди, старики время от времени шевелили губами, облизывая их языком; в выражении деревянных, износившихся лиц, в частых миганиях слезящихся глаз, во всех их, повидимому, равнодушных фигурах незаметно было особого возбуждения: ожидали люди «воли», как много лет подряд ожидали выдачи пайка хлеба, очереди получения из котла горяче «баланды»...

В стороне, с правой стороны, между деревянным шкафом с делами и печью, стояли пять женщин пожилого возраста в грязных белых посконных юбках, босые, с неопределенного цвета кофточками на плечах. Все женщины часто приподнимались, вытягивая вперед головы, старательно рассматривали сидевших за столом писарей, непокойного чиновника, груды книг и бумаг, хотя, находясь в первой линии, без подъема на носки свободно видели стол и заседавших. Особливое нетерпение и любопытство выказывала одна из женщин, лет сорока восьми, с круглым корявым землистым лицом, бегающими серыми глазами, длинным с горбиной носом, толстыми губами, сутулая, коренастая. Поднимая часто правую руку ко лбу, она обтирала ладонью струившийся пот, усиленно царапала голову, затылок, вытягивая шею, внимательно рассматривала стол и бумаги. Выражение ее лица было озабоченное, на щеках появлялись красные пятна, быстро сменяясь бледностью, испуганным выражением, оторопелостью, растерянностью. Опершись спиной о печку, стояла дряхлая старуха с высохшим морщинистым лицом, втянувшимися в беззубый рот щеками, крючковатым подбородком. Седые космы волос беспорядочными клочьями выбивались из-под головного капора. Старуха стояла с закрытыми глазами, опираясь на длинную палку, придерживаемую обеими руками, тяжело вздыхала хриплыми переливающимися, булькающими вздохами и, повидимому, плохо сознавала окружающую обстановку.

Скучившись по левую сторону входной двери, стояли пять-шесть каторжных среднего возраста; изредка между ними слышались швыркание носом, сдержанный кашель, тяжелые вздохи.

В канцелярии стояла тишина, но делопроизводитель часто выкрикивал:

— Тише! Чего шумите? Мешаете заниматься! В кабак собрались, что ли? Эй, ты, корявая рожа, чего шею вытягиваешь? Чего не выдывала? Успеешь свою красоту прогулять: лохань без помоев не бывает... В Каре три раза родила, на воле первого родившегося удушишь — вернешься скорехонько.

Корявая женщина испуганно вздрогнула; сделалась неподвижной; лицо одеревенело...

Всех томила скука ожидания. Перед делопроизводителем на столе лежали заготовленные «вольнительные свидетельства», скрепленные надлежащими подписями, с приложением казенной печати. Он медлил раздачей. По каким причинам — он и сам не объяснил бы. Имеет человек возможность помолиться, заставить других подождать, показать свое значение, — отчего не воспользоваться?

— Иван без прозванья, сорока пяти лет! — выкрикнул по списку делопроизводитель.

— Здесь я, здесь, ваше благородие! — шамкая отозвался старческим голосом стоящий впереди старик.

— Не здеськай, дубина, подходи ближе к столу: сорок лет в каторге пробыл, ума не нажил... Который год тебе от роду?

— Сорок пять по статейному, ваше благородие, сорок пять, милостивец; искони пишется сорок пять; в бумаге прописано, ваше благородие...

— Тебе, седой крысе, сорок пять?! — кладя на стол бумаги, выкрикнул делопроизводитель. — Пять раз бегал с каторги, три плети о тебя измочалили, а тебе сорок пять лет от роду? Всыпай тебе с прохладцей розог триста, скажешь настоящие года, родовую фамилию, не околел в каторге, околеешь на поселении... Получай! Про-хво-о-о-сты! — протянул он, подавая бумагу. — Чтобы духу твоего не было в каторге, слышишь?

— Слышу, ваше благородие, слышу...

— Попадешься в Каре, выпорю, не посмотрю, что вольный старик, понял?

— Понял, ваше благородие, понял, батюшка, как не понять. Судьбина наша известная...

— Не ра-а-азговаривать, мерзавец!

С наставлениями, угрозами, остановками, одно за другим выдавались «свидетельства»; получившие в руки «волю» торопливо выходили из канцелярии.

— Ваше благородие, милостивый человек, — получая свидетельство, обратилась с просьбой корявая любопытствовавшая женщина, — объясни мне, Христа ради, куда я причислена на поселение, в какую волость? Темный я человек, ничего не знаю...

— В потаскушкину волость причислена, красавица ты наша писаная, в потаскушкину, начальство о тебе позаботилось, в других волостях тебе места не нашлось... Ха-ха-ха! — откидываясь

на ешику стула, раскатието смеется делопроизводитель. — Пошла, красавица?

— Пошла, ваше благородие, пошла, покорнейше благодарю! — принимая свидетельство машинально говорила женщина, недоуменно-растерянным взглядом окидывая выдававшего.

Вопросительно оглядев приеутетовавших, держа в руке выданную бумагу, она медленно вышла из канцелярии.

— Петр Турбаков, 48-ми лет! Подходи, не задерживай! — громко выкрикнул вызывавший.

К столу подошел невзрачный низкорослый оборванный человек, с подвижным цыганским лицом, бегающими путешескими глазами, рванная грязная рубаша, рваные порты висели ключами; ветрянут волосами, он остановился как вкопанный.

— Чего изволите, ваше благородие? Я самый Петр Турбаков...

— Жиганью породу по приметам издалика узнать можно, оглядывая с ног до головы Турбакова, говорил делопроизводитель, — не важная птица, не заморская: собачьей, жиганьей породы.

— Так точно, ваше благородие! Справедливо изволите говорить: породы карымской, жиганской, под вашим некровительством много лет состояли, вашей выучки, ваше благородие... покорнейше благодарим за науку, на всяк час и день помним...

— Молчать! Не разговаривать! Ты с кем разговариваешь?

— С вашим благородием, ваше благородие. Изволили меня вызвать по ешику, я подошел, раньше не осмеливался... Порядкам обучалюсь, понимаем, ваше благородие...

— Не разгова-а-а-ри-ва-ть, мерзавец!

— Так точно, ваше благородие, будет исполнено!..

Минуту внимательно осматривая делопроизводитель стоявшего Турбакова и, не говоря ни слова, подал ему свидетельство.

— Счастливо оставаться, ваше благородие, долгой вам жизни, богатства желает Турбаков для малых ваших детушек... Даст господь, увидимся, в жизни всякое бывает!

Он весело ветрянул волосами, нетерпеливо вышел из канцелярии.

— Жиганья морда, прохо-димо-е-е-е!.. Свернут тебе на вольную скорехонько, или к нам в Кару вернешься, — со злобством в голосе проводил его делопроизводитель.

— Иван Непомнящий, тридцати пяти лет!

— Здесь я, ваше благородие!

Перед столом стоял старик лет шестидесяти, с лысой крупной головой, окладистой седой бородой, торчащими ушами, слезинными глазами, плотно сжатыми тонкими губами.

Сколько лет ты числишься Непомнящим тридцати пяти лет? — скороговоркой спросил делопроизводитель.

— Не можем знать, ваше благородие, запомнотали, невозмутимо спокойно ответил старик. — Отца, мать, родителей род-

ных, не помним, о себе, кто таков, спросить некого: под кустом родились, тайгой вскормлены, вскормлены...

— Врешь, прохвост! Помнишь ты все и всех; ласково смотришь, зорко поглядываешь. Убирайся с каторги, чтобы духу твоего не было...

— Все от господи, ваше благородие, от его святой воли; ни один волос с головы не упадет без воли господи... Счастливо оставаться! Гора с горой не сходитесь, человек с человеком в руках господних...

Сладкозвонец карийский, из редкостных!

По вызову к столу подошла сгорбившаяся, согнувшаяся, выдохшая старуха. Опираясь руками на палку, она тяжело дышала, усиленно моргая подслеповатыми глазами.

— Зажла-а-а-ла-а-ся, ваше благородие, зажала-ся, батюшко... даже устала... одышка... дышать не могу, — тихим, прерывистым голосом говорила старуха; голова ее тряслась, туловище издрагивало мелкой дрожью.

— Не знаю, как доберусь до поселения. Девять десятков прожила; как доберусь, не знаю, батюшко! Пятьдесят лет прожила в каторге, пятьдесят, батюшко, — хватаясь руками за грудь, отрывисто хрипела старуха.

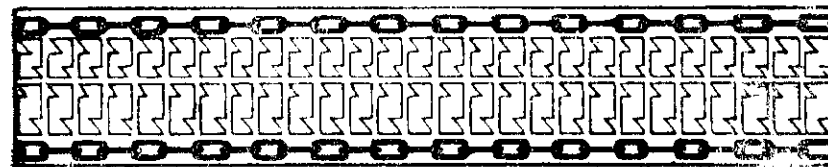
— Погуляешь, бабушка, на белом свете, — говорил делопроизводитель, — поживешь! Дело твое женское, найдется хороший человек...

— Не слышу, батюшко, не слышу, оглохла в каторге, оглохла... Плетями стегали два раза, стегали, батюшко... Забыла, откуда в каторгу пришла, забыла, батюшко, с которой стороны. Господь знает, с которой, забыла! Рассейская была, может, не рассейская, с какой другой стороны появилась, забыла, батюшко... Душит меня, оглохла, ноги не ходят, на глазах туск... Куда и денусь, батюшко, с бумагой? Умру на дороге! Оставьте, Христа ради, в каторге: вся жизнь прожита здесь, промаячилась... лет ни роду, ни племени... Оставьте в каторге, Христа ради...

— Срок ты окопчила, из каторги уходи, вольный человек, на все четыре стороны...

С бумажной «волей» в руках, не сознавая времени и пространства, выходила из канцелярии старуха; удушливый кашель колотил грудь, подсекались старые ноги, в глазах стоял туман, кружилась седая голова...

*Забайкальские
встречи*



ОТСТАВНОЙ ШТЕЙГЕР

Долина (падъ) реки Кары, в которой более пятидесяти лет сосредоточивалась Нерчинская каторга, стала известной по золоту с 1832 года.

В 1872 году, помимо стариков-каторжных, доживавших свой век в усть-карийской богадельне и помнивших начало каторжных работ на Каре, — на Нижней Каре проживал восьмидесятилетний старик, Яков Семенович Костылев, в звании штейгера участвовавший в открытии карийского золота. Проживал он на небольшую пенсию, получаемую от горного ведомства за открытие Кары и долговременную службу.

Выше среднего роста, крепкий, коренастый, с круглым, мясистым лицом, трясущимися головой и руками, с выбритой бородой и усами, Яков Семенович был вдов и бездетен. Проживал старик в собственном домике, построенном на верхней террасе карийской отлогости, у основания конусообразной горы (сопки), на вершине которой его иждивением была выстроена деревянная часовенка как благодарственная жертва «за сохранение живота своего» в течение пятидесятилетней службы.

При крепком сложении, одиночестве, нелюдимом характере и невольной отчужденности от текущих каторжных и промысловых событий, Яков Семенович не отказывался при случае пожаловаться, посетовать на свое одиночество и старческие недуги. Как один из старожиллов каторги, как очевидец сорокалетней своеобразной карийской жизни, Костылев интересовал меня с первых же дней моего приезда на службу в Кару.

— Заходи! Заходи, милый человек, если время позволяет: поговорить с тобой хочется о своей болезни! — проходя мимо его дома, услышал я голос с балкончика.

Приглашение было принято, и знакомство завязалось.

— Какой ты молодой, доктор! Зачем в Кару приехал?

осматривал меня с ног до головы, добродушно спрашивал старика.

Служить приехал, Яков Семенович, служить где-нибудь необходимо...

— Служить-то служить, мы тоже служили, да служба бывает разная... Однако тебя в Кару за провинку послали; в Кару тех за провинки шлют, мне видно с балкона, делать нечего целый год, — сижу и наблюдаю... Водки выпить хочешь?

— Можно выпить и водки, Яков Семенович!

— Можно-то можно, это я знаю: слышал, — много пьешь водки, зачем балуешься? Много хороших людей погибло в Каре от водки, — много от плетей, много и от водки. Ну, да это твоё дело: чужая душа потемки... Побеспокоил тебя по делу: полечи меня, спасибо скажу, век прожил, состарился, голова трясется, и умирать не хочется...

Сделавшись частым посетителем дома Якова Семеновича, я с попятным любопытством слушал его бесчисленные рассказы о старых, давних временах рудниковой и карийско-катержной жизни, об его участии в открытии карийского золота. Он рассказывал о своих житейских и служебных эпизодах без всякой злобы и ненависти к кому-либо, рассказывал как о чем-то постороннем, да него не относящемся. И рассказывал одинаково и о том, как его били нещадно, и о том, как он бил других, попавших к нему в подчинение...

— Времена таковы были, милый человек, против воли бить приходилось: кто приказывал бить, кем заведен был такой порядок, тот и будет в ответе перед богом на страшном суде...

— Да-а-а, милый человек, мы с инженером Павлуцким золото по реке Каре разыскивали, наших рук было дело. Не думали, не гадали, что на место серебряной золотую каторгу изобрели...

— Молодым я тогда был, подневольным, горным служителем! — начал старик рассказ из своего далекого прошлого. — В горных рудниках дед мой и отец родились, я был потомственным крепостным Акатусовского рудника, с материнского порождения обучался под палкой горному делу; к тридцати почти годам произвели в штейгерское звание. Все мы, горняки, по руднично-серебряному делу работали, о золоте не слыхивали, золотые деньги видывали, а где и как добывается золото, не знали. Первые слухи о карийском золоте были перехвачены от орочен, выезжавших на оленях из якутской тайги на реку Шилку в Екатеринбургский рудник и Шилкинское селение. Выезжали ороченсы верст за тысячу с бабами, ребятами, привозили соболей, лисниц, меняли на порох, свинец, табак и разную домашнюю утварь; проживут неделю, другую, уезжают обратно. В то время от Сретенска до Горбицы тайга была непроглядная; с реки Горбицы всего сто шестьдесят верст от Сретенска, — до муравьевских сплавов, — тайга к Амуру считалась не российской зем-

лей, а китайской или монгольской, — бог ее знает чья она была, кому принадлежала! Горбическое селение считалось пограничной крепостью: десятка два конных казаков в ней домами жили с женами, ребятами, получали казенные пайки, оберегали границу...

— Как же вы, Яков Семенович, карийское золото открыли? — постарался я повести старика на интересовавшую меня историю открытия Кары.

Кару-то как открыли? — вспрепунувшись, переспросил он. — Очень просто, милый человек, — открыли и в я недолга! В начале зимы 1831 года пошли мы партией из Нерчинского завода к правому берегу Шилки; снега в падь, лесах выпали глубокие; мороз уши, носы обрывал, мы мерзлую землю огнями грели, ломами били, шурфы пробивали. Дело розыска золота было нам незнакомое, не слыхивали, где и как золото добывается: серебро знали, золото не знали. До карийского золота в Сибири о добыче его не слыхивали, было ли золото в России — не знаю.

В половине декабря, у крепости Горбицы перебрались мы, милый человек, с правого берега на левый берег Шилки, начали подвигаться вверх по реке, добрались до устья Кары, остановку сделали — обрадовались! К дому, к Большому заводу, начали подвигаться, к родным, к сродственникам... Надсело по морозу, по снегам, лесным трущобам голодным, холодным бродить, ломы, лопаты с собой таскать, под снегом спать, подчас одним снегом питаться. Главное, никто из нас, рабочих, да и сам инженер Павлуцкий, в золото не верил: ходили, мерзли, землю копали по приказу горного начальника. Сейчас розыски золота — дело обыкновенное: всякий горняк-рабочий знает, где и как его разыскивать а в 1831 году инженеры не знали, как за него браться. Серебро в рудниках с царя Петра Первого начали добывать, сколько годов прошло, пожалуй, не сосчитаешь! Рудничная каторга основалась с испокон веков: там ее били, шахты копать заставляли, серебряную руду добывать, под землей умирать, под завалами, в шахтах задыхаться... Крестьян к рудникам приписали, обязательных горных служителей развели и началась двойная каторга! Каторжному срок полагался, горному служителю от рождения до смерти каторга полагалась: образовалась потомственная каторга, подобие дворянского звания, только шиворот навыворот!

— Да, милый человек, — вдумчиво, сосредоточенно продолжал рассказ старик, — многое я видел, пережил, испытал на себе... С меня самого не одну кожу сняли; в которой мать родила на белый свет, — в помине не осталось. На плетях, розгах, шпигунках по кусочкам содрали, — недаром кости болят, все суставы говорят, в особенности к ненастной погоде... Старая, давняя жизнь костями вспоминается, — полечил бы меня, спасибо скажу... Подумаешь, как добрый-то человек, который соба-

кой не был, не зверствовал, давал людям передышку, долги людям вспоминается! Были таковые и в наше время, царство им небесное, место упокойное... Да-а, милый человек, добрые, хорошие люди навсегда помнятся: зверю — осиновый кол, добрые помнятся!

— Пошли мы с устья Кары, — после минутного раздумья продолжал рассказывать старик, — вверх по течению; нас в партии было человек пятнадцать: я из Акатуя, другие из Нерчинского завода, Алгачей, Кутомары, Александровского Завода, — всем сестрам по серьгам, начальство в обиде никого не оставляло... Я считался в партии старшим, имел штейгерское звание, заправлял работами. Шли по карийской пади по колена в снегу, по бокам горы, леса дремучие, каменные россыпи, кустарник; вся падь, кроме снега, буреломом завалена. Шли мы левым берегом, правый к горам прижимался, шурфы пробивать было негде.

Ты не подумай, милый человек, что мы встали и пошли на проход, — знай пошагивай, не оглядывайся! От устья Кары до нынешнего Нижнего промысла — пятнадцать верст — шли мы полтора месяца; тут шурф пробьем, в другом месте, в третьем. Шурфы пробивали по три, четыре сажени глубины, — помаешься руками с пудовым ломом от зари до зари целую неделю. Дрова приходилось рубить для протопки земли, цельного дерева в шурф не спустишь, не зажжешь его в узком колодце. Спали в холщевых палатках, от волков кругом огни разводили; в палатках было тепло, при сорока градусах мороза не мерзли.

— Тепло при сорока градусах мороза в холщевых палатках?! — невольно вырвался у меня удивленный вопрос. — Трудно, Яков Семенович, в холщевую палатку тепло загнать!

— Нужда заставит, милый человек, калачи в снегу печи: съест калач всякий дурак сумеет, для этого ума не надо, а ты его испеки да и хвастай! Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет, да она же и выдумывает, чтобы не околеть с голоду, не замерзнуть в зимнее время. Днем работаешь, без огня жарко; долгую зимнюю ночь скоротать, в тепле проспать в холщевой палатке, — для этого требуется смекалка. На месте, где ставится палатка, снег разгребали до земли примерно сажени на четыре в квадрате. Часа за три, за четыре до вечера на очищенном месте разжигали костер из цельных бревен, земля протаивала, высыхала, нагревалась, при усердии прямо раскалялась; золу, угли отбрасывали лопатами в стороны и ставили палатку. Постелим войлок и ложимся спать, как на нагревшую печь, с боку на бок поворачиваемся: сухо, тепло от земли, сверху шубой оденешься, — царства небесного не надо! В бане парились в тех же палатках: сложим из булыжника печь, раскалим камни докрасна, надернем палатку и баня готова. Бросишь лопаты две-три снегу на каменку, дух захватывает от жары, парься, сколько душе угодно! Веники заменялись мокрой руба-

хой, штанами: плотно пристают к телу, обжигают грязь. Вскочишь парной из бани, окунешься в снег головой, с боку на бок раза два перевернешься в снегу и снова в баньке паришься. Без бани, милый человек, партию вини бы заели, все бы окоростились; разбросаем печь, спать ложимся на теплую землю; так и жили, бога славили!

— Добрались и мы до золота, до «крупки», милый ты человек, что божьим светом ворочает, в ад людей тянет, — возбужденно заговорил старик. — Через золото в царство небесное не попадешь! К земле оно тянет, совесть убивает своей тяжестью... Была каторга руднично-серебряная, железная, солеварничная. Мы разыскили золотую: новая каторга дороже обошлась православному миру, как золото дороже серебра!

Находился я на пятом шурфе, когда прибежал с крайнего шурфа рабочий: испуганный, бледный, бьет его лихоманка, кричит, что сумасшедший.

— Яков Семенович! Яков Семенович! Господин штейгер! золото разыскали! Вот тебе Христос, золото! Крупинками в лотке видится...

— Врешь ты, собачий сын, — говорю, — какое в грязи может быть золото?! Померещилось вам с похмелья...

— Вот тебе Христос, господин штейгер, золото разыскали! Федька промывальщик послал, чтобы вы сейчас приходили: сидит с лотком в руках, обмер на месте.

Нечего делать, пошел я, поторапливаюсь... Инженера Павлуцкого в партии не случилось: уезжал для отдыха верст за тридцать, в Шилкинское селение, я оставался за старшего. Подхожу я, милый человек, — какое тебе подхожу! Бегом подбегаю. — Старик оживился, глаза расширились, засверкали, голова затряслась. — И... ве-е-рно-о! Сидит Федька на корточках, в левой руке лоток (деревянное корытце) держит, ладонью правой руки водой в лотке булькает, человек десятков рабочих кругом сидят, глазами уставились, молчат, что убитые... Выхватил я лоток из рук Федьки, смотрю! Перевертываю лоток с боку на бок: на дне корытца блестят желтенькие крупиночки, переливаются... Одурманило меня! К носу лоток поднес, пальцами трогаю крупиночки, — твердые, тяжелые, на зубы положил, погрыз... Рабочие на ноги повскакали, переглядываются, я на них гляжу...

— Да золото ли это, ребята?! Не верится! Золото, не золото — пес его знает...

Отдохнул я, опомнился, на весах взвесили, оказалось ползолотинка, — тяже-е-ло-о-е!

— Ну, ребята, — говорю, — пожалуй, мы золото разыскали, что-то будет?! К худу, к добру, а, пожалуй, разыскали... Случилось это в феврале 1832 года, сорок лет минуло!

К Павлуцкому нарочного послал, работы побросали, только и дела было — я не отставал от других — золото в корытце рас-

смагивать... Верим и не верим: вдруг окажется не золото? Не перепало бы в затылок за напрасное беспокойство... Никто из нас золота не видывал. Чудом нам казалось: в грязи, мути, неске золото разыскали... Налетел Павлуцкий: осмотрел, испробовал царской водкой, взвесил — оказалось золото! Рад раде-хонск, ходуном заходил, на месте усидеть не может, нас всех расцеловал, слезы на глазах, дивились мы этому много. Заки-дела работа, спирту пей сколько хочешь, только работай... Где ни промоем шурф — золото; за два месяца стоянки шурфов де-сяток было пробито, мы их и заканчивали.

Уехал инженер в Нерчинский Завод с докладом, я с рабо-чими остался. Скоро мы приспособились к промылке: нагребешь в лоток породы, воды пальнешь, ладонью разотрешь, глядим — золото. Самородков много попадалось; с горошину, таракана; золотишков по пяти-десяти вытягивали, желтые, тяжелые. По-надеется рабочим самородок, в руках повертят, осмотрят со всех сторон, зубами погрызут и... несут штейгеру!

— Господин штейгер, получайте! Хорошая золотина под ру-ка попалась, не меньше таракана, выпить с радости позвольте!

Подать порцию спирту, папуху табаку — тем и дело окан-чивалось. Куда он с золотом? Ни я, ни рабочие цены ему не знали... Закончим дневную работу, соберемся артельно, гуторим про между себя: Павлуцкий большие награды обещал за труды.

— Наградят вас, ребята, — буду хлопотать, — наградят по-царски: вольную всем дадут, будете свободными с вашими же-нами и детьми!

Надеялись волю получить, из кожи лезли, не жалели себя на работе. Воля кому не мила? Вместо обещанной воли артель наша, кроме меня, года через два от цынги вымерла на той же промылке карийского золота! Работали, умирали вместе с ка-торжными, обещанную награду получили...

Э-эх! — вздохнул старик. — Простота, незнание наше бы-ло: давался клад в руки, не умели пользоваться, не дал господь разумения! Сейчас золото каких денег стоит... Не умели, милый человек, пользоваться... Серебро знали, воровали: скупщикам давай серебра сколько угодно, с руками оборвут, цена на серебро стояла хорошая. Золото не брали, говорили: — Нам не под-ходит! Может эта «крупка» медного гроша не стоит: с сереб-ром — милости просим, с нашим превеликим удовольствием!

Года два-три прошло после открытия золота, кое-что разо-брали, напасхали для скуки: по полтине медной золотник покупа-ли, рад народ был рабочий полтину выручить! Через мои руки без всякого учета пудов пять золота перешло: я такой же дурак был, что другие, не сообразил, в чем дело...

До чего доходила простота, неведение, хотя бы той же ка-торги: народ бывалый, прожженный, натуральный народ по всем статьям, одно слово — каторга, а и они маху давали. Нагна-ли с рудников в Кару каторгу скорехонько: тюрьмы для себя

сами построили, железные решетки в окна вбили — пожалуйста! Началась золотая каторга: разрезы копали, торфы снимали, бо-теди цынгой, умирали под плетью и розгами, десятками убегали в тайгу, пошла работа, милый человек, по правилам, по пого-де...

Промывали золото на бутарах, породу из носилках носили: пудов носилок на артель в восемь человек урок полагался, наконай, нагребли, унеси на бутарку тысячу пудов породы, — не исполнишь — порка всей артели! Штейгер сидит на бутарке, по-именно отписывает в списках принесенные носилки. Я сам много раз выживал на приемках, рассказываю бывальщину. Полагается каторжной артели самородок золота золотишков в тридцать, по-вертят в руках, подивуются, иной в руки не возьмет «пустяко-вину», кладут поверх породы на носилки, на видное место.

— Неси, ребята, штейгеру, проси сбавы десяток носилок за находку!

Самородочек разыскали, господин штейгер, артель просит у нашей милости сбавы на уроке, не откажите в просьбе, веч-но будем бога молить за ваше здоровье!

Случалось, сбавишь, случалось, обругаешь, случалось, по-щечам прогонишь... Как все сдохватились, да поздно! Разобрало дело и начальство, пошла строгости, надзоры, учеты: за пуд золота сотни человеческих жизней не жалели...

Да-а-а, милый человек, с того самого места, где мы в 1832 году золото разыскали, каторжная Кара началась, — когда она закончится, одному господу известно! Сорок лет минуло, вторую тысячу пудов начали промывать, крови, слез человеческих море-жеан пролилось на этом месте, а я все живу на белом свете, вижу ту же каторгу, плети, кандалы, тюрьмы... Золото в боль-шой цене оказалось, не серебру чета! Люди в цене сбавились: цена жизни человеческой, против золота, медного гроша не стоит...

Заходи, милый человек, не забывай старика, — закончил рассказчик. — Будешь слушать, расскажу, что видывал: хоро-шего мало, все больше тягота каторжная, горно-служительская... Разгильдеса Ивана Евграфовича очень хорошо знал, служил под его начальством; каторга его очень хорошо помнит, песню про его правление поет, не забывает... Заходи милый человек, долечи старика: ломота моя может и уменьшится...

ВОЕННАЯ КОСТОЧКА

Высокого роста, с лысой круглой головой, седыми нависши-ми усами, щетиистой небритой бородой, темным морщинистым лицом, серыми сухими глазами, ввалившимися щеками восьми-десятилетнего старика Иван Степанович Боровков жил

одиноким бобылем в небольшом собственном домике на левом крутом берегу Аргуни, в казачьем поселке Шомы.

— Хо-хо-хо!.. пожаловал?!— вскакивая с деревянного обрубка, торопливо говорил старик. — Здравствуй!.. Здравствуй!.. Девять заколоти, десятого выучи!.. Каково живется, можется? Поджида-а-л!.. слышал от фельдшера о приезде... Сейчас!.. Одна нога в Казани, другая в Рязани... Едят тебя мухи с комарами... Рыба клюет знатнечко, закатимся на ноченьку!

Он порывисто схватывал со стола самовар, останавливался, морщил лоб, шевелил густыми бровями. Одетый в синюю дабовую рубаху, такие же порты, в опорках на босую ногу, крижистый, массивный, порывистый в движениях, неутомимый пешеход, он казался выродком среди медлительного малорослого казачьего населения.

— Поджидал!.. Поджид-ал!.. Самовар изготовлю по-военному, стриженная девка косы не успеет заплести, — направляясь к двери, говорил он скороговоркой.

Через минуту гремел за стеной железным ведром, рубил топором, раздувал во всю силу стариковских легких.

— Не любишь?.. Вре-ешь!.. поручика Боровкова рота слушалась, — слышался голос старика.

Иван Степанович Боровков, поручик в отставке «из сдаточных», проживал на пенсию 14 руб. 29¼ коп. в месяц. Бывший крепостной Рязанской губернии, сданный помещиком в солдаты, через пятьдесят лет закончил службу в одном из пеших батальонов забайкальского казачьего войска.

Квадратная с двумя небольшими окнами комната через тусклые, бутылочного цвета стекла слабо освещалась солнечными лучами. Образ в переднем углу, деревянная кровать у печи, лавки у стен, два стола, небольшой висящий шкаф, деревянный обрубок вместо кресла составляли убранство комнаты. На полу свернутый рыболовный невод, обрывки веревок, береста, плоские камни-голыши: дупно, пахло пылью, погребом. В растворенную оконную раму ворвались теплый июньский ласкающий воздух, снопы световых лучей, сразу изменившие сумрачность, неуютность жилища, — открылась картина речного приволья. Яркоголубос, чистое, прозрачное небо в недостижимой высоте, изумрудом блестели солнечные лучи в воде протекавшей Аргуни, миллионами искр сверкая в быстрых течениях, отражали плывущие в воздухе облачка. С сотнями водных скоплений, зеленым ковром расстилаясь правый монгольский берег, темной туманной каймой горизонта виднелся горный хребет, казалась, вплотную придвинулась к берегу Чингизова сопка, извечный страж течения реки. В воздухе стоном висели разнообразные крики пернатых обитателей, миллионами заселяющих луга острова, шумно-крикливой жизнью заполняя долину. Видимая зеленеющая равнина, желтовато-серый цвет степного простран-

ства, дымка далеких горных очертаний, голубой купол неба над горизонтом сливались в картину бесконечного простора.

— Привольное место, рыболовная река, — побрякивая чайной посудой, говорил вернувшийся хозяин. — Стар становлюсь, забываю растворять оконную раму, глаза тускнеют... Года три назад Чингизову сопку различал с вершинки до низов, «маяки» на вершинке видел, сейчас не вижу, а расстояние не больше верст полсотни... Застилает глаза черная немочь: трешь, трешь!.. Старость — не радость, говорят старики, надо соглашаться... Придвигайся к столу, почаюем, побеседуем...

— Многое, Иван Степанович, пришлось пережить вам в жизни.

— Хо-хо-хо, — втягивая губы в беззубый рот, не то вздыхая, не то смеясь, заговорил он отрывисто, — пож-и-и-л... послужил царю, отечеству: не лень слушать, расскажу... Родился при императоре Павле первом Петровиче, в солдаты забрали при императоре Александре Благословенном, в отставку ушел при императоре Александре втором, сейчас на престоле император Александр третий — живу при пятом императоре, служил при трех. — Он держал чайное блюдечко на растопыренных пальцах левой руки, правой подносил ко рту кусочек сахара, сосал, встряхивал над блюдечком, как после откуса. — Повыбили зубы на службе, едят их мухи с комарами, сахару откусить нечем... Было времечко, бывшем поросло. Как даст, бывало, по зубам майор Шкурин, два-три зуба вылетят... Не смей глазом моргнуть, держи руки по швам... второй раз ударит — солдат не шевелится, остолбенеет, третий раз со всего размаха... с кровью зубы вылетят... «Роззог»!.. Триста горячих...

— Играет солнышко, радуется, — оборвал он вдруг тему рассказа. — Райчики по стене бегают, рыбий клев ворожат. Не закатиться ли на поченьку?.. Огонек на берегу разложим, котелочек навесим, нар от воды подымается — благодать господняя!.. Одне лягушки развеселят краканьем...

— С удовольствием, Иван Степанович!

Старик оживился, дул на блюдечко, гладил ладонью вспотевшую голову, расправляя усы. Быстро заговорил:

— Забрали мне лоб в 1820 году, из рекрутского отправили под караулом в роту... Хо-хо-х-хо-х-хо! — складывая трубочкой губы, смеялся старик. — Привели в роту, передали под начало дядьке Василию Давыдчу: мне тридцать от роду, дядьке шестьдесят восемь — пошла учеба!.. Розги, палки, фухтеля, шницрутены... Маршировка, военный артикул, маневры, экзекуция, тихим шагом в три приема, ружья заряжали на двенадцать темпов, по церемониальному ходили с выправкой... Солнце жарит, духота, пыль столбом, на спине ранец в два пуда с жестяной «манеркой» крест на крест с ремнями на груди, на голове кивер с козырьчком вышиной три четверти, под скулами на чешуйки застегивался, ружье кремневое восемнадцать фунтов

вссу, шинель, сумка с патронами, штаны в обтяжку, мундир с воротником до ушей, головы не повернешь... Ожидаем команду... — старик вдруг сорвался с сиденья, руки по швам, топнул ногами, вытянулся, грудь выпятил, глаза выкатил, багровые от патуги, с передышкой выкрикнул:

— По церемо-о-ниальному... в три-и-и прием-м-ма... Тихи-и-и шаго-о-ом... ма-а-арш!.. Трах, трах, тарарах!.. — вспотевший, сидел на обрубок, возбужденно говорил: — За-а-мерла-а шеренга, поднялись в воздухе правые ноги... вытянулся... носки к земле пригибают, пятки прижимают к мосталыгам: звон в ушах, в головах кружение, в груди дыхание сперло... Подскочил командир... «Куда носок равняешь?!» По зуба-ам!.. Выдержи удар, не качнись на одной ноге, не испорти равнения, — покачнулся... «Роззог!» «Вытягивай ногу, вытягивай... Забри, не шелохнись!» Забри, не шелохнемся, в лицах побагровели, глаза вылезли, левая рука в ружейный приклад вцепилась...

«Ра-а-а-аз!».. «Два-а-а-а!».. «Три-и-и-и!»... Поставили правую ногу на землю, подняли левую... начинаем сызнова... Часа по два полумерсту маршировали, не торопились командой... Ожидает генерала, его превосходительство корпусный жаует, предостоят генеральный смотр... ружья песком прочищают, полировка кизеров постным маслом, чистка ремней, усы нафабрены, бороды выбриты, волосы выстрижены под одну колодку, у ружей винты для звону ослаблены... «На кррраул» брякнем, звякнем ружьями: одно слово, музыка... Начальнику умиленно!.. Шествует по фронту его превосходительство, замечает аккуратность, артикульную выдержку: у нашего брата дух замирает — заготовлены с вечера три поза розог, в кадочках размачивали... Подойдет генерал к правофланговому... долго, долго равнение шеренги рассматривает, наблюдает: кулачок к глазу поднесет, откинёт голову в одну сторону, в другую... наклонится — смотрит пожное равнение... Отброшены ружья на четверть от груди, заковенели руки на показанных местах ружейного приема, ни живы, ни мертвы стоим, ожидаем резолюции... глаза в полуобороте прива... «Фронт правильный, ружья в линию... Спасибо, ребята»... «Рады стараться, ваше превосходительство!»... Земля дрожит, пыль столбом поднимается... «По церемониальному... в три приема... Тихим шаго-о-ом, ма-а-арш!»... «Не торонись!» Вытягивай ногу, вытягивай!.. Любимая была маршировка его превосходительства: приседал, вытягивал свои ноги, шелкал пальцами, стоял на одной ноге...

Уедет корпусный, раздают награды. За одно замечание порол десятиго, за два — пятого, за три — всех поголовно. Стоял на батальонном дворе, на десять, двадцать куч разлаживали, обливалась земля кровью... изводили деревянные, лесов не хватало...

— Хе-хе-хе, — после небольшой паузы добродушно смеялся старик, — двадцать пять лет обучали ружейным приемам, на две-

надцать темнов ружье заряжал... стрелять не выучился. Командуют: «Клад!» «Пли!» — ружье на руку, глаза зажмурю... Куда летит пуля?.. Чёрт её знает... «Пуля тур, штык козлен!»... «Пуля виноватого пайдет!» Мы так и понимали, сообразно действовали. Смотри, покажу тебе команду на двадцать темпов, старик вскакивал на ноги, вытягивался, выпячивая грудь, командовал: «Раз!.. Два!.. Раз!.. Два!» — поднимая ноги, топтался на месте. — «Направо-о, круго-ом!» — быстро повертывался... «Сто-ой!» — останавливался как вкопанный. «К заряду!»... «Патрон из сумки»... «Скуси патрон!»... «Всё!»... «Вгони пулю!»... «Высь шомпол!»... «Догони дуло!»... «Открой полку!»... «Пороху на полку!»... «Закрой полку!»... «Клад!»... «Пли»...

Старик поднимал руки, опускал, вытягивал, крутил по воздуху, сгибая в локтевых суставах, однообразно выкрикивал команду: в его выкриках слышалась даже известная музыкальность...

— Память слабеет, начал забывать артикульный порядок, — садясь к столу, говорил старик, — без ружья в руках показывать неспособственно: с голыми руками порядка не соблюдешь... Служил я в столичном городе Петербурге, в образцовом батальоне: вот где обучали ружейным артикулам! С утра до вечера ходили по ранжиру... выша-а-ги-вали... Из образцового поили походом в венгерскую сторону, усмирять венгерца: войсков русских собралось достаточно... Произошла в одном месте баталия; я фельдфебельствовал: отбила наша рота три пушки, двух ейных генералов полонила, представили по начальству. Меня произвели в благородное звание, назначили прапорщиком. С непривычки сначала выходили непорядки. Крикнет командир: «Прапорщик Боровков, пожайте ко мне!», бежишь, штаны расстегиваешь, готовишься к наказанию... Помаленьку к чину привык, старые обычаи забросил... После венгерского похода в Сибирь назначили, служил по разным городам, Забайкалье перебрался, вышел в отставку...

— Прищипка, как погляжу, всему делу голова, — наливая чаем кружки, продолжал старик. — привыкаешь, отвыкаешь, в том жизнь проходит... В одном у меня не было привычки: жены, ребят не имел, не случилось времени пожениться, служба мешала... Приходится одинокому, безродному, бесплеменному жизнь оканчивать, как старому волку в берлоге: некому глаза закрыть, не придут родные на могилку помянуть за упокой... Э-эх... горе, наше горе!.. прошла жизнь под палками... били... били... по три шкуры в год сдирали... кому на радость!?

Старик замолчал, опустив голову: болезненно-жгучая, беспросветная тоска мелькнула в глазах, замерла, заковенела в морщинистых складках деревянного лица... Он сидел, двигая губами, барабанил пальцами по столу.

— Было — уплыло, былём поросло, забито в землю, заколо-

«люди» — встретившись, начал он скороговоркой, — ходил солдат по одной половине, в стороны не оглядывался — привыкает человек к напастям! При нас писали начальству в заголовке «испорт», вышел приказ писать «репорт». Переменяли пустяковину: «люди» на «арцы» — много горя причинила перемена: наш писарь Стручков едва не удавился — ночи просиживал, черкал, черкал, выводил «арцы» вместо «люди» — на черняхях выходит «репорт», на беловике «лепорт»... Вышло строжайшее подтверждение, как рукой сняло, сразу бросил писать «люди», больше не ошибался... Служил я в городе Краснояре гарнизонным прапорщиком, получил предписание: «Прапорщику Боровкову приказывается заведовать гарнизонной швалью, наказательными экзекуциями, о последующем доносить». Разговаривать не будешь! Пацан мундир, эполеты, сабля в ножнах, шарф с кистями, кивер с орлом на голове... являюсь... «Исполнить по всей строгости судное решение, об исполнении донести!» «Слушаю, господин майор!» За кражу казенной подошвы, утерю ружейного штыва, винный изо рта запах, рядового четвертой роты Григорья Сукина, пятидесяти одного года, прогнать сквозь строй пятисот рядовых четыре раза... Раненечко утром вывез три воза палок; свежие палки, гибкие, форменные: взяли солдаты по палке в правую руку. Ожидают... Дождичек моросит, солнышко за тучами не видно, в сторонке штук десять ребятишек, собралось с полсотни взрослых, баб, мужиков, любопытствуют... Загремел барабан. Привели виновника, обнажили до пояса спину: темная, дубовая спина, морщинистая, лопатки шевелятся, ребра вздрагивают. Усатый, седоголовый, лицо что известка белое, каждая жилка вздрагивает... Прикрутили руки к ружейному прикладу, прочитали приговор... «Начина-а-ай!»... Трах, трах, грарарарах! Повели по зеленой улице... Хлоп, хлоп... хлоп...

— Помилосердуйте!.. Отцы командиры, помилосердуйте!.. —

Хлоп, хлоп, хлоп. Я иду в такт за солдатскими спинами, наблюдаю исполнение... Хлоп, хлоп... ревет человек, кричит звериным голосом... Окончилась экзекуция... «Песенники, вперед!»... Запела выводит:

То не соколы крылаты
Чуют солнечный восход,
Белого царя солдаты
Собирались в поход!
Взор их мужеством пылает,
Грудь отвагою полна...

Старик замолчал, сидел с опущенной головой...

— Две недели мяса в рот не брал после экзекуции, — заговорил он вздрагивающим голосом, — солдатская кровавая спина мерещилась, потом приобыкнул, от мяса не отказывался... Палочное было время, безжалостное: хозяйского кота ударить жалели, не поднималась рука на дворовую собаку, людей изби-

вали, полосовали нещадно. Кто будет в ответе? Господь ведает!... Наше дело век доживать, лесом зеленым, травушкой любоваться, красным солнышком. Звериный род уменьшается, — всех в одну яму закапывают, одна черва жрать будет, духу звериного не останется... Изменилось время, люди изменились, ослабли против стариков: ноют, воют, причитывают от всякой пустяковины, что бабы по покойнику, за водку берутся, — с какого горя?! Отчего не выпить!.. Мы в свое время пивали, — полведерка на брата за гулянку обходилось, песни, пляска... Утром чуть свет на ученье, ни в одном глазе...

Живет, живет человек, спроси по душе: «Зачем, для чего живет?». Ответить нечего... Не нами жизнь началась, не нами закончится, красного солнышка для всех хватит...

— Бог напитал, никто не видал, один друг видел, но не изобидел! — перевертывая выпитую кружку, громкой скороговоркой произнес старик. — Закалялись, едят тебя мухи с комарами! Солнце клонит к закату: будем собираться на Аргунь, рыба давно ожидает...

Через час мы спускались по крутому берегу Аргуни.

БАКАЛЮК

Мы отаборились на возвышенном берегу озера Сосновки, развели огонь, навесили чайник. Был конец мая 1883 года, скаты гор ярко краснели ранними цветами багульника, заполняя смолистым запахом воздух, шумели ветвями могучие сосны, недосягаемым куполом висело над лесом синее небо, сверкала, блестя вода в лучах заходящего солнца, вершины хребтов загорались прощальным закатом. Туманная дымка нависла над озером, повеяло холодом, сыростью, пряным запахом водорослей, болотной травы, слышались всплески разыгравшейся рыбы, провистели крыльями в воздухе дикие утки, заквакали громко лягушки.

— Дождались весны матушки, — задумчиво проговорил фельдшер Михаил Иванович, пятидесятилетний третьежен, отец многочисленного семейства. Аккуратный, исполнительный, веселый, балагур-песенник в трезвом состоянии, в периодах запоя бывал буйно-придирчивым. — Заиграет весеннее солнышко, распалится реки, озера, зацветет черемуха, — мечтательно продолжал он, — жена, ребята становятся роднее: сидел бы с удочкой над озером, с места не поднимался! Зима тянется полгода, морозы сорок градусов, сидишь в конуре, что волк в капкане. Ребята под ногами вертятся, во всем нехватка: засосет вдруг под ложечкой!..

— Обещал женушке карасей на пирог наловить, рыбной ухицей угостить, задобрить бабу до праздника, — поднимаясь

на ноги, продолжал он изменившимся тоном. — Воскурю трубочку, к озеру схожу, осмотрю удочки: на женино счастье вдруг карась втискается, попадаются сомята.

Отчего жь, девица красная,
Пригорюнясь у ворот стоишь?..
Или думу крепку думаешь,
Иль на сердце что не весело? —
Говорил солдат израненный..

Донесся из тумана тонкий, фистуловый голос Михаила Ивановича.

— Неунывный человек, трем тещам в руки не дался, товарищ первосортный, рыболов страшный, — аттестовал ушедшего казак-оспопрививатель Александр Николаевич, неизменный спутник моих охотничье-рыболовных приключений. — Весной летом пьет вино редко, в зимнее время не выдерживает: случится оказия — запьет, ворота запрет. Жалованьишко немудреное, семеро ребят... колотится бедняга, что рыба об лед.

Нависла темнота, шорохами ночи заполнялся воздух, едва слышно скрипели деревья, мягким звуком ударялась о землю упавшая ветка, шелестела в вершинах колючая хвоя: совещались во мраке могучие сосны, шептались друг другу извечные тайны... Ярко горел костер из смолевых веток, поднималось в воздухе облако дыма, в двух шагах не различались предметы.

— Здравия желаю! — раздался шамкающий голос. — Не поводите ли к огоньку погреться?

— Подходи, Бакалюк, место всем найдется, — торопливо ответил Александр Николаевич.

В полосу света вступил коренастый, небольшого роста старик, с темным морщинистым круглым лицом, подстриженными усами, обросшим щетиной подбородком, ввалившимся в беззубый рот щеками. Минуты две он стоял у огня, как зачарованный. Коротко остриженная седая, плешивая на темени, гололая жилистая красномедная шея, оттопыренные уши, бескровные губы, слезящиеся моргающие глаза с помутнениями ярко освещались пламенем костра. Одетый в рваную солдатскую шинель с оловянными пуговицами, опоясанный веревкой, босой, с непокрытой головой, мокрый с головы до пяток, вздрагивая, он торопливо протягивал над огнем руки, придвигал по очереди к костру босые ноги.

— Волосы стричь, бороду брить, милостыню не просить приказано указом в чистой отставке николаевскому солдату, — заговорил он вздрагивавшим голосом, — исполняю приказ свято. пенарушимо. Здравия желаю господам рыболовам.

— Садись, Бакалюк, обсушивайся. Где тебя угораздило выкупаться? — участливо спросил оснопрививатель.

— Спроси, как добрался до Сосновки... хо-хо, — снимая мокрую шинель, усаживаясь, вздыхая, говорил пришедший.

Соснепа забрел в болото, загнулся... шапку потерял, краюху хлеба за пазухой, черней в мешочке вымочил. Чем питаться? Ловить карасей? По николаевским законам Ивану Григорьевичу Бакалюку двести палок в спину, горячую порцию пониже поясницы. Начальство говаривало: «Не ходи куда не показано, сохраний припас, оберетай пуще своей головы...» Хо-хо-хо... грехи наши тяжкие, грехи наши тяжкие, — поворачиваясь спиной к костру, вздыхая, говорит старик.

— Глядели отглядели, в трех шагах не различаю человека: дух солдатский из Бакалюка выходит, девятый десяток жить заканчиваю, путина пройдена немалая, — поднимая над огнем ногу, говорил он полутромя. — Рыбешку долью напущу, дрогнет удилишко в руке, из воды вытаскиваю, сорвется рыбника... напугетую: «Я тебя, вертихвостную. Попадешься в другой раз на удочку, сразу в кипятке окуну, сварю ушцу с солью, перцем, солдатским сердцем.» Хе-хе-хе!.. На палки, розги Бакалюк не сердился, на рыбку вольную сердиться грех.

От старика валит пар; забирая в руки полу мокрой шинели, закручивая, сопя, крихтя, вздыхая, выжимал воду; поднимаясь на ноги, держал шинель над огнем. В посконной грязной рубахе с расстегнутым воротом, рваных портах, босой, с открытой головой, автоматически шевеля губами, казался жалким, бесприютным, заброшенным.

— Ивану Григорьевичу Бакалюку не дам покурить турецкого табаку, — приветствовал старика вернувшийся Михаил Иванович, — с махоркой трубки не пожалею, у костра обогрею... Здравствуй, старина! Как поживаешь, чью девку в замуж намечаешь? Счастливым твой приход, — усаживаясь к костру, балагурил он довольным голосом, — двух сомят выудил, пять карасиков: лучше маленькая рыбка, чем большой таракан! Женушке на полнпрога хватит. На вторую половину утречком бог подаст. Не женись, Бакалюк, не соблазняйся бабьим подолом, ей-богу, не советую!

— С начинем поздравляю, успехов желаю: ловить — не переловить, иметь не переимать. Бога помнить, озеро не портить, чертей разрешается корчить... Хе-хе-хе!.. — весело смеялся старик. — Разве не правду Бакалюк говорит?

— Прокурат ты, Бакалюк, известный. Кырсенские бабы, девки давно на тебя в станичное правление заявку сделали. Иван Игнатьич прошение писал: «Нет, говорят, наших сил, моченьки обороняться от Бакалюка, что волк степной сторожит на каждом перекрестке, измотался женский полк, сна, спокойствия лишился», — шутливо говорил Александр Николаевич.

— Нечего бабам делать, пускай жалобятся! — отшучивался старик. — От Бакалюка им ни шерсти, ни молока: кулак в голову, ногой оделся, вся моя постеля при себе... Чем Бакалюк бабу, девку от холода закроет!

— Про другую ногу забываешь... Ха-ха-ха!.. — весело смеялись собеседники.

Горячая чайная влага привела старика в благодушное настроение: держа на растопыренных пальцах монгольскую деревянную чашку, причмокивая, обсасывая хлебную корку, прихлебывая, жмуря глаза, он, видимо, наслаждался.

— Много добрых людей живет на белом свете, — добродушно говорил старик, — напоят, накормят, обогреют, с голоду умереть не дадут, куском хлеба поделятся, денег не спросят.

— «На чужой каравай рта не разевай, свой припасай», слышал я от отца с матерью, — ответил Александр Николаевич.

— Сунься к богатеям, попробуй! — заметил Михаил Иванович, — раскровенят нос голодному человеку, потом корочку хлеба выбросят: не мытьем берут — катаньем.

— Всекие люди встречаются, худые, хорошие, — согласился старик. — Зlobятся друг на друга от жадности: не думают, не гадают, что после смерти с свиньей, собакой равны бывают: изложут черви тех и других.

Наступило молчание.

— Заседатель родился, — нарушил его Михаил Иванович, — сибирская примета известная: замолчат разговором в компании — заседатель нарождается... Однако соловьев баснями не кормят, — продолжал он деловито, — следует подумать, чтобы утреннюю зорьку не проспять, карасиный клев не проворонить!

— Бросим жеребий, кому сказки рассказывать, караулить утреннюю зорьку!

Жребий выпал Бакалюку.

— Спорить не буду, — заявил старик, — жребий — человеческое счастье.

— Осмотрим удочки, червей освежим, — предложил Михаил Иванович, — вернемся — за рассказы возьмемся!

Минут через десять вернулись.

Ярко пылал костер от подброшенных сухих смолистых ветвей, стусилась сильнее ночная темнота. В просветах вершин деревьев мерцали далекие звезды, слышались редкие всплески воды, слабые шелесты хвой, глухой отдаленный стук копыт о землю стеноуженной лошади.

— Расскажу, как нас в городе Иркутском генерал Муравьев в женихи пожаловал, — попыхивая трубкой, начал рассказ Бакалюк. — Понимать он не любил, распорядки были строге. После севастопольского замирения много тысяч гарнизонных штрафных солдат погнали из России в Сибирь на заселенье. Не за всеми штрафными провинки числились, жалобы на солдатские обиды не дозволялись; солдат в себе обиды изнашивал. «Солдату-жалобщику — первая палка, первому из спины ремень вынимался», таков был приказ-обычай. Были в штрафных воры, грабители, пьяницы, отчаянные сорви-головы, большинство же составляли старики-калеки, негодные для строевых парадов солдаты.

Меня перечислили в штраф за грыжу: двадцать два года носил украшение, не обращали внимания, палками били, розгами, — на двадцать третьем году усмотрело начальство, — грыжа парадно поменяла. Николаевской службы требовалось двадцать пять лет полняком; потом куда девать стариков беззубых, грыжников, увечных? Для окончания службы переводили в штрафные команды.

— Шли мы в Сибирь, промежду себя разговаривали, — подбрасывая в костер ветки, продолжал рассказывать старик. Российская палка солдатские кости ломала, из спины мясо вырывала, в живых оставляла, по-своему миловала. Сибирская палка забьет штрафников до смерти, — старик замолчал, протянул над огнем руки, долго тер их одна о другую, сосредоточенно смотрел на огонь. — Ха-ха-ха, — раскрывая беззубый рот, засмеялся он удушливым смехом, — ошиблись в расчетах штрафники! В городе Иркутском решение вышло: «Штрафных солдат до шестидесяти лет женить на поселках, отправить на приплод, заселенье реки Амур, оставшихся зачислить забайкальским казакам в дети, взамен их родных детей, усланных на заселенье той же реки».

— Собрались женихи на площадь, шеренгой выстроились в парадных мундирах, усы нафабрили, бескозырные фуражки набекрень, — рассказывал Бакалюк, — сапоги блестят не хуже, как для инспекторского смотра; другой шеренгой, шагах в двадцати, — штук четырехста, пятьсот, — поселенных баб, девок по парашу выстроили. Солнышко радостно играет, весной запахло, ожидали распаленья рек. Посторонний народ собрался к сторонке, любопытствуют. В красненьких, беленьких, синеньких платочках на головах стояли невесты, женихов осматривали, всяких было довольно: молодые, румяные, корявые, безносые, кривые, косоглазые, средних лет, сторбленные старушки. «Всякая годится на голодные зубы: было бы нутро не овечье, человек»... решило начальство.

— Сгрудилось начальство к середине площади, любопытные придвинулись, — невозмутимо продолжал старик, — начали выкликать женихов по списку, по другому — выкликали бабу, девушку, какая стояла по порядку.

— Иван Пичуга, пятьдесят восемь лет!

— Здесь!

— Образуй новую шеренгу, становись с правого фланга!

— Слушаю, ваше благородие!

— Дарья Мордашева, двадцать шесть лет!

— Здесь, здесь!

— Становись лицо в лицо, в двух шагах против Пичуги!

— Не стану против лысого, старого чёрта!..

— Не разговаривать!.. Розог захотела?

— Обмените жениха, ваше благородие, сделайте божескую милость, век буду бога молить!

Молчать, не разговаривать!

Степан Ковригин, сорок восемь лет!

Здесь!

— Степанида Анучкина, пятьдесят девять!

— Здесь, батюшка, здесь, ваше ваше благородие, — шамкала беззубая старуха.

— Становись против Степана Ковригина, сорок восемь лет!

— Встану, батюшка, встану, ваше ваше благородие: куда прикажут, везде встану, супротивничать не буду! Глазыньки не смотрят; пуганная грыжа... ноженьки подгибаются... Встану, ваше ваше благородие, везде встану!..

— Не разговаривай!..

— Григорий Родимов, сорок восемь лет!

— Ольга Пятачкова, пятьдесят четыре года!

— Сергей Мирошкин, сорок семь лет!

— Фекла Иродова, тридцать восемь лет!

— Степан Забралов, пятьдесят два года!

— Софья Куликова, сорок девять лет!

В двух шагах стояли женихи против «суженых». Оглядывая друг друга, тяжело вздыхая, широко раскрывали глаза, приходили в ужас. Против молодой, здоровой, грудастой, богатырски сложенной двадцатилетней Дарьи Мордашевой стоял сторбленный кривоглазый беззубый плешивый Иван Пичуга. С трясущейся головой, прищуривая единственный глаз, обнажая рыхлые десны, улыбаясь, ласково спросил Дарью:

— Как твое святое имячко?

— Убирайся к дьяволу, беззубая гарница!

— Что-о-о!

— Ничего, проехало: глухим попы две обедни не служат... Гарнизонная капустная блоха!

— Ты у меня... оглядывайся!.. Дай в закон вступить: я тебе, деревенской кобыле, кости переломаю.

— Не запугивай: не побоимся. Шпаривала я кипятком не таких дохляков, как твоя гарнизонная милость... Попро-о-буй!.. Тронь... задень Дарью! Я тебя, гарнизонную крысу, беззубого дьявола, с одного раза пришибу, ногой разотру ненавистную соплю!..

— Что говоришь? Что говоришь?!.. Погоди, погоди... погоди, заморская сволочь, дай кругом наложу в венцах обойти, в святой закон вступить... Я тебе, стерляжьей суке, покажу права законного мужа! Прикормку поганую по волоску выдергаю, разрушу гонимые непотребные, укорочу долгий волос!

— Руки коротки, брюхом не вытянул, гарница чумакая! Будешь кругом меду ходить, облизываться, смотреть со сторонки, как другие прочие женушки медок похлебывают!

— Погоди!.. Погоди!.. Погоди, корова заморская, — грозя кулаком, захлебываясь от злобы, выкрикивал суженый. — Доберусь до тебя... доберусь! — поднимавшаяся ссора грозила дракой.

— Смирно-о-о! — доносилась грозная команда.

Жених с невестой притихали.

Перед пятидесятилетним Фомой Глухаревым, скопидомом, хозяйственным солдатом, всю продолжительную службу мечтавшим о счастливой семейной жизни, стояла со слезящимися гнойными глазами, язвой вместо носа, гнусавая тридцатилетняя Лукерья Лукина. Скашивая красные глаза, скаля зубы, обнажая гнилые десны, оправляя красный платок на голове, охорашиваясь, гнусаво заговорила:

— Здравствуй, суженый-ряженный! Как тебя звать, величать? Гора с горой не сходится, суженую конем не объедешь. Прошу любить, жаловать!

Ужас, отвращение охватили солдатскую душу Фомы, закипела, поднялась в душе бешеная злоба на говорившую, свою несчастную долю: он с омерзением плюнул.

— Чего плюешься? — обиделась Лукерья. — На одной кровати спать придется, целовать будешь, миловать законную жену!

— Чьи мыши тебе, паскуде, нос отгрызли? — подавляя бешенство, спросил Фома.

— Не мыши грызли, ваш брат, паскудник солдат, надругательствовал!

— На живодерню тебя выбросить, безносую кобылу, утопить в помойной яме, будь ты от меня трижды проклята! — Из глаз Фомы закапали слезы.

Почти шестидесятилетняя Степанида Анучкина, сгорбленная, одряхлевшая, стояла перед сорокавосемилетним богатырем Степаном Ковригиным, кривым на левый глаз, отчаянно-веселым балагуром, песенником, плясуном, удалой головушкой. Прищуривая глаз, закручивая нафабранные усы, хмурия брови, он долго внимательно осматривал старуху.

— Здорово, бабушка, — заговорил он ласково, — прошу любить-жаловать! Человек я смирный, сговорчивый, баб не обижаю, старушек почитаю: на чужой сторонке и старушка — божий дар! Чего мы с тобой поделаем? Начальство приказывает на тебе жениться, в обиде тебя, старого человека, я не повинен!

Старуха не понимала Ковригина, не создавала положения, шевеля губами, беззвучно шептала: «Царица небесная... Магушка, спаси, помилуй! Никола угодник, Параскева-Пятница»...

— Едет!... едет!... — раздалось по площади испуганные голоса; замерли женихи, невесты, затряслись у всех поджилки.

— Смирно-о-о!..

— Здорово, женихи, невесты!

— Здравия желаем, ваше превосходительство!

— Сколько будущих новобрачных? — спросил он адъютанта.

— Четыреста пар, ваше превосходительство!

— Целуйтесь женихи с невестами! — скомандовал генерал. — Поздравляю, желаю счастливой жизни, побольше наплодить детей, верных слуг престола, отечества, обзавестись на Амуре хо-

ийством! Трудолюбивых начальство не оставит, ленивых будет жестоко наказывать... Поняли?!..

— Рады стараться, ваше превосходительство!

— Марш в церковь бракосочетаться; через три дня отправка на Амур!

Рассказчик замолчал, сидел осунувшийся, согнувшись.

— Пора до озера идти, утренняя зорька загорается, — вставая на ноги, прервал молчание старик. — Новобрачных на Амур-реку сплавляли, нас, оставшихся, в казацкие дети определили. родных сыновей отцам, матерям заменить; хлебнули с новыми детками горя-горького неповинные отцы, матери! — закончил рассказ Бакалюк.

НА ЭТАПЕ

— Да-а-а-с! Как попал я в 1867 году на Сидьвинский этап, — не торопясь, с передышкой говорил капитан, — так и застрял здесь по уши... Пятьдесят четыре года от роду, в чине капитана четвертый год, остался один на белом свете: жена, дети в одну неделю умерли от арестантской горячки, — как ветром сдунуло! Верите: побриться собраться не могу, — а циркульник не купленный, из своих солдатиков... Когда я служил в Тобольске, судьбу мне предсказали. Лет двадцать пять тому минуло: веришь и не веришь, — а в голову приходит...

Зашел к ворожейке, — цыганка была в городе, старуха лет восьмидесяти; ходили к ней многие, говорили, правду выворачивала. Был я тогда тридцати пяти лет, в чине поручика: годы молодые — давай попробую, погадаю... Захожу вечером... был в градуссах; в кулаке гривну держу, думаю про себя: «Посмотрим, бабушка, что ты залопочешь!» Показал старухе гривну: «Поворожи, бабушка!» Глазами окинула, молчит... «Поворожи, бабушка, предскажи!» Молчит, хоть бы слово... Положил я на стол гривну, что, думаю, за дьяволица?! Молчит баба-яга, глаз с меня не сводит...

— Мало гривны, бабушка? Больше нет, последняя... — сказал ей правду, сам пошел к выходу...

— Верпись! Куда идешь? Не знаешь ты, сокол ясный, бабушку Джелинку!

Вернулся к столу, гривны не оказалось; заговорила старуха:

— Всякое дело не сразу делается, сокол мой ясный, спех — один только грех! Слушай, сокол мой ясный, что будет говорить тебе старуха, — мимо ушей не пропускай: упустишь слово, не поймашь, а счастье — подавно... В царствах живут, в полуцарствах живут, ходят люди в золоте, в серебре... Ходят волки черные, серые, белые; зубы скалят, барашков обижают... Много много, сокол мой ясный, слез и крови на белом свете проли-

вается. Течет кровь человеческая по горам, по долам, по бережникам: где остановится лужицей — хороший человек родится на этом месте, хороший и пригожий... Нешироким ручейком протекает — хороших людей мало родится на белом свете: это ты, сокол мой ясный, запомни! Дай твою рученьку, не бойся! Не кусается Джелинка, правду тебе скажет. Полюбился ты мне, не с обидой пришел к старухе; зла у тебя в душе ко мне нет!

Подав руку, стою, как пень... По спине мурашки забегали, пот на лбу выступил...

— Таланный ты, бесталанный, сокол мой ясный, ждет тебя судьба твоя: по лесам она ходит, по горам, по ельникам, по березникам, тебе за ней не угоняться: будешь ходить кругом да около... Ходи, по сторонам не оглядывайся! Встретишь в жизни кралю молодую, бог тебя не оставит: живите, поживайте, деток наживайте, — в животе и смерти воля божия... Доброе сердце твое отзывчиво: к бедным, убогим, несчастным ты жалостлив... Счастье людское приходит и уходит, угоняться за ним трудно, сокол мой ясный, — счастье всегда впереди человека: подъедет оно, будешь счастлив... Крови человеческой не проливай, сокол мой ясный, кровь человеческая вопиет... Таланный ты, бесталанный: рука твоя счастье твое показывает; каково оно будет, сам увидишь, вспомнишь меня когда-нибудь, старую Джелинку.

Замолчала старуха: я постоял, постоял, вышел на улицу...

— Выпьете, доктор, — беря меня за руку, слабо улыбаясь, проговорил капитан, — выпить военным людям приказами разрешается: монахи пьют, святые угодники пили, — нам, грешным, бог простит. Спасибо, что зашли, по месяцам не с кем слова сказать, за себя страшно делается...

Опрокидывая в рот стаканчик с водкой, капитан голову откинул назад, глаза зажмурил, надул пухлые щеки, нервно передернул плечами и громко крикнул...

— Первая — колом, вторая — соколом, дальше пойдут мелкие птички. Кто это выдумал подлую водку? А не выпить нельзя. Кругом тайга, необитаемый остров; рядом этапная тюрьма с решетками, впереди ничего в волнах не видно... Настоящая этапная казенная крыса...

— Женился я в городе Тобольске, — расхаживая по комнате, рассказывал капитан, — мне предложили место этапного начальника в Забайкалье. Подумал, подумал, с Глашей посоветовался. Жена моя была поповна, сирота, мать — просвирней: пить, есть хотелось, за плешивого и вышла. Желушка была тихая, хлопотала больше по хозяйству: солит, маринует, варенья варит; здесь, на этапе, коровенку завели. Приехали мы на этап — пустыня, тайга, селение — четыре версты. Меня, знаете, придавило. Приехали в начале июня, — через десять дней должна была прийти на дневку арестантская партия, надо было подготовиться. Повидал солдат в казарме: грязь, вонь, одно слово — навозная куча... Заглянул в этапное здание: боже милостивый!

Нос зажал руками, как пуля вылетел, три дня есть не мог... Пошел к реке, уселся на берегу, заплакал... До вечера сидел: вода под берегом бурлит, рыба плещется...

— Ваше благородие, барыня просят чай пить. — Стоит на берегу солдат, на меня смотрит.

— Как твоя фамилия?

— Сиводеров, ваше благородие!

— Пойдешь ко мне в денщики?

— Рад стараться, ваше благородие!

Взял с налету: оказался честнейшим человеком. Пришел домой, не узнал: чистота, порядок, вещи разложены, стекла промыты, солнышко в комнатах играет. Рассказал жене свои приключения.

— Не кручинься — утро вечера мудренее: будет день, будет хлеб; будет хлеб, будет и радость... Завтра посмотрим, сегодня устала...

За одну неделю мне Глаша такую разваруху заварила, у всех в ушах зазвенело! Солдатикив пригласила, из селения баб наняла; я командовал солдатами: мусор выносили, скребли, гребли, с песнями, прибаутками. За этапом вырыли яму, огонь развели, что могло сгореть сожгли, что не сгорело — закопали в землю. Жена с засученными рукавами в первом ряду с бабами работала. Я взялся за посылки, солдатам помогать.

— Не извольте беспокоиться, ваше благородие, поняли в чем дело! Для собственной пользы мы сами потрудимся...

У этапа окна открыты день и ночь: днем солнышко жарит, ночью — ветерок продувает... Подобрались, убрались, повеселело на сердце: стены, потолок, нары блестят; нужные снасти в порядке; в этапной ограде, кругом этапа, казармы — ни соринки.

Подождал день прихода первой каторжной партии, — к вечеру должна придти. Выбрался я, примундился, шашка через плечо; осмотрел конвой, проверил ружья, патроны, — привел в боевую готовность. Сердце колотится, в голове — сомнения, напало раздумье: бессрочные, долгосрочные каторжные, убийцы, разбойники, грабители, к цепям руками прикованы, на ногах кандалы. Надо сознаться, боялся я бритоголовых; близко видеть этих людей не приходилось: ударит, думаю, пожом в бок, — для таких людей жизнь человека дешевле барана. С молоком матери всосалось: каторжный — не человек, что-то страшное, хуже дьявола; жалеть таких людей нельзя, им одно место — каторга...

Поджидая партию, водочкой подбадривался: выпьешь двести рюмки, — храбрее себя чувствуешь. Правда, прав у этапного начальника много: за бунт, разбой, за смуту можно всю партию расстрелять... «Клац! Пли! Готово!» А труса на первый раз праздновал...

— Партия подходит, ваше благородие; по приметам — версты за две, за три, не больше, — доложил фельдфебель.

Выскочил я из дома, иду к этапным воротам: солдаты выстроились, предстоит смена конвоя.

— Смирррно! На карраул!

Я махнул рукой; стали вольно. Фельдфебель меня предупредил:

— Обычай у всякой партии, ваше благородие: саженой за сто от этапа вся партия, как сумасшедшая, бросится к воротам, чтобы захватить лучшие места в камерах, — ничем их не удержишь! Перестреляй всех — бросятся мертвые. Мы, ваше благородие, заранее ворота отворяем настежь, в калитке передают друг друга. Штурмой этап берут, никакого с ними способа! Старики, больные, слабые спят под нарами, им за шпанкой не угодиться...

Рассказ фельдфебеля меня беспокоил. Подумал я, подумал, пошел один к партии навстречу. Иду, посматриваю в направлении; дорога изгибами, впереди не видно, кто идет, кто едет. Услышал, наконец, топот сотен ног, звяканье кандалов, остановился на пригорочке: тянется темное облако пыли, звенят, пыхтят, кашляют, оглушаются... Пришло мне в голову — голос был звонкий, громкий, командирский голос.

— Ст-о-оой, партия! — гаркнул.

Остановились, затопали, заколыхались. Подбежал я к голове...

— Здорово, партия!

Загудели, закричали, затоптались на месте, конвой насторожился, подтянулся.

— С благополучным приходом поздравляю, вышел познакомиться: новый этапный начальник, капитан Огурцов... Тихи-и-ам ша-аго-ом ма-арш!

Встал впереди головки... шагаю... все оглядываясь... в этапную ограду завел партию, проверил, подсчитал; в камеры вошли в полном порядке...

После рассказывали солдаты: поразила партию чистота этапа, вымытые окна, выбеленные стены, вымытый пол. Руками стены, нары оцупывали, отхожие места обошли; удивляются, разговаривают.

— Куда прешь, чёрт? Ноги оботри, лезет, что корова...

— Чудеса, ребята!

— Как гаркнул-то! Сразу остановились...

— С нами шагал, при шашке...

— Плешивый!

— Тебе какое дело до его плеши? Придет время, сам облезешь: Кара подберет, облысанит...

— Видна забота: первый раз за всю дорогу...

— Не хвали! Обозначится...

— Обозначится, видимое дело...

Чисто-о-та-а!

Он тебя вычистит! Дай срок, попробует зубы...

— Чего будет — увидим; для начала — дело ясное...

Рубль на партию пожертвовал...

Вре-е-ешь?!

Ей-богу правда, старосте передал...

Для первого, говорит, знакомства --- большего не имею...

Под струну подлаживается...

Чего ему подлаживаться? У него своя струна в запасе: восемьдесят солдат с оружием; прикажет, настроют тебя, небу будет жарко, до Кары не забудешь...

— Дело верное...

— Истинная правда...

— Партионный староста очень хвалит: обходительный человек, две рюмки водки ему подал, калач пожертвовал...

— Вре-ешь?!

— Ей-богу, правда! Сам слышал...

— Этап вычистил, что к светлому празднику...

— Потрудился, к партии навстречу вышел...

— Жена у него молодая, калачи я покупал --- видел... Поклонился. «С новосельем, говорит, какво отдыхали?»

— Чудеса, ребята!

...Так ли говорили арестанты, не так ли, ругали, хвалили, не знаю; сам не слышал; рассказывали солдаты. На другой день была дневка. Проверил утром, присмотрелся: грязные, пыльные рубахи пропотели, что кожа дубленая; день жаркий, река близехонько, я предложил выкупаться. Загадали...

— Спасибо, ваше благородие! Облегчение с дороги: заматались, загрязнились...

— Не позволит ли, ваша милость, кандалы снять для купанья? Искупаемся, снова наденем, в вид приведемся, --- говорил партионный староста.

— Разве возможно кандалы снимать?! --- Меня, знаете, оголошило.

— Можно, ваше благородие, в одну минуту будет готово: дурак не снимет, умный избавится... Без кандалов купаться мыться способнее: за партию я отвечаю...

— Кандалы, ваше благородие, для одного близира: кто бежать захочет --- кандалы не помеха, дурак камнем собьет в одну минуту...

— Слово команды крепче кандал, ваше благородие, --- мы ручаемся друга за друга: побегов не будет...

— Пусть будет по-вашему, снимайте кандалы!

— Покорнейше благодарим! Не сомневайтесь, все будем налицо: людей мы разбираем, ваше благородие!

Через час я зашел на этап: ни звяку, ни бряку... ходят дворянами, ни единого кандалика на ногах. Сердце у меня екнуло! Расковывать, послаблять, входить с арестантами в сделки я права не имею: об этом я и вспомнил... Арестанты окружили меня, смотрят весело, все разом закричали:

— За облегчение покорнейше благодарим, век будем бога молить...

— Освободились? --- спрашиваю, как дурак.

— Так точно, ваше благородие, покорнейше благодарим...

Не закончить же их было после позволения! Я махнул рукой --- пусть будет, что будет... Пошел я с ними купаться. Двадцать солдат с ружьями в конвой нарядил, --- партия двести человек, --- нельзя же было их одних отпустить! Жена фунтов пять мыла раздала, --- берут, не отказываются. Партионный староста, здоровенный рыжий детина, с корявым лицом, с серьгой в ухе, ни на шаг от меня не отходит:

— Не беспокойтесь, ваше благородие, --- солдат уберите, все на этап явятся...

Молчу, думаю: заварил кашу, как-то расхлебывать придется? Как окандалили! Капитанства лишился, шашки, пистолета не захватил, иду с голыми руками... Часа два в воде брызгались, без криков, без ругани, без матерного слова, спокойнее деревенских ребятишек... Уселся я на камень: солнце жарит во-всю, голые тела в реке полощутся, берег рваною одеждой завален, солдаты с ружьями полукругом стоят по берегу, рыжий староста около меня стоит, глаз с реки не сводит. Крикнул:

— Эй, вы, команда, слушай, что староста скажет: дальше середины реки не забираться... слышали?

— Слышали, Никита Петрович!

— Теперь, ваше благородие, позвольте и мне купаться: все будет в несправности...

— Купайся, чего ж тебе немытым оставаться...

— Покорнейше благодарю!

Разделся. Здоровенный, спинка белает на солнышке. Перекрестился.

— Мне, староста, с тобой можно купаться? Время жаркое.

Любил я купаться, не выдержал.

— Пожалуйте, ваше благородие! --- заторопился, суетится. --- Позвольте, помогу раздеться!

Пошли мы с ним в воду, не отходит от меня.

— Ты, говорю, староста, мойся, за меня не бойся: плавать я умею отлично, не утону...

— Покорнейше благодарю!

Переплыл я на другой берег, на камешках посидел: на реке шум, гул раздается, голые тела кувыркаются, полощутся, друг друга ладонями хлопают по голому телу...

— Вавька, не балуйся, чего ты? Ошалел, что ли? «Не беспокойся, проживет до Кары». --- «Староста чего сказал? Чай, слышал?»

Большинство сидело у берега по горло в воде, --- торчат одни полубригые головы. Вернулся я обратно, начал одеваться: вышел из воды староста.

Прикажете собирать команду, ваше благородие? Помылись, волей подышали, пора домой...

Собирай, говорю, коли находишь нужным...

— На этап соби-и-ра-ай-ся! Довольно! — крикнул староста. Вылезли из воды, оделись, в ряды строятся.

— Становись десятками! Становись десятками! Стройся... Живее, ребята, его благородие дожидается! — командовал староста; живо он их подсчитал.

— Все палило, ваше благородие, прикажете идти?

Что меня удивило, — рыжий староста командовал партией не хуже генерала, — даст иному подзатыльник, едва на ногах устоит. — Не задерживай, сволочь, партин, семеро одного не ждут, порядка не знаешь...

Вернулись на этап до единого человека; послал я им два кирпича чаю. Бабы с ребятами, что с партией шли, без единого конвойного, с моей женой, ходили купаться. Помыться им хотелось, главное ребятшек обмыть; в редкой партии десятка ребят в каторгу не переправлялось: особого рода каторжные!...

С этого купанья страхи мои к каторжным пропали, разгляд: идут в каторгу люди... Бабы идут — детей не бросают, кормят, заботятся: сама не доест, ребенку калач купит... Случается: сотни верст мать несет на руках ребенка, соседке не передаст бережет свое родное дитя...

Проезжая лет через пятнадцать Сильвинское селение, в церковной ограде сельского храма я нашел саженой высоты листовичный крест, окрашенный в белую краску, с глубоко вырезанными в дереве, окрашенными в черную краску надписями следующего содержания: «Под снм крестом схоронен капитан Огурцов, заменял он при жизни арестантам родных отцов. Арестанты капитана любили, сей крест на могиле водрузили. Капитану Огурцову слава во веки веков. Аминь».

СЛУЧАЙ

...Старик капитан замолчал. Минут десять он молча ходил по комнате, проводя ладонью по небольшой бороде, по усам, гладил свою лысую голову, перебирал в руках угасшую трубку. Его массивная круглая нескладная фигура в старом, сером форменном пальто без погон, казалось, передвигалась автоматически, не сознавая времени и пространства...

— Какой случай со мной вышел, — набивая и раскуривая трубку, вдруг заговорил капитан, — забавный случай! Хе-хе-хе! — засмеялся он старческим смехом; лицо его оживилось, в глазах появилось лукавство, хитрое добродушие. — Годов двад-

цать назад, значит в 1870 году, когда жена и дети мои были еще живы... собирался я на охоту; дело вышло в начале июля; жена-покойница мешок съестного наложила, боялась, не умер бы с голоду ее супруг, плешивый Аника-воин!

— Пошел я берегом реки: с правой руки горы, лес по горам, ветер гудит по верхушкам, утренняя прохлада — благодать господня! Прошел версты четыре. Надо вам сказать, почтовый сибирский тракт отходил от этих мест верст на пять в сторону — полное безлюдье — иду, мало о чем думаю...

Вдруг сбоку, в кустах мелькнуло что-то темное: кусты зашевелились, затрещали... «Коза!» — мелькнуло в голове, — ружье на руку, изготовился... поднялся человек! Я отскочил в сторону; руки с ружьем вытянул... Стоит человек без шапки, дрожит бедняга, как в лихорадке. Высокий, чернявый, борода клином, половина головы не успела обрасти. Человек для меня, этапного начальника, приметный...

— Ты чего здесь делаешь?!

— Виноват, ваше благородие, простите Христа ради! Не убивайте, пойду, куда прикажете.

— Что бы вы сделали на моем месте?!

Капитан так неожиданно быстро подскочил ко мне, так стремительно шумно было его движение, что я невольно вздрогнул. Широкое, скуластое небритое лицо близко наклонилось к моему лицу, глаза его сузились, углубились в орбиты, толстые, мясистые губы отвисли, он тяжело дышал...

— Хе-хе-хе! — засмеялся он тягучим смехом, снова быстро зашагав по комнате; его грузное тело колыхалось от смеха. — Хе-хе-хе! Вышло дело — курам на смех... Были у меня колебания: схватить беглеца за шиворот — не бегай с каторги, не лугай честных людей... Тэ-эк-с... Искушение! Дома Глаша, Миша, Оля, Паша — потребность сохранения благополучия семьи... Забрал я раба божия Ивана Свистунова, — сказал он имя и фамилию, — котелок у него в руке, мешок на спине, ноги босые, одет по-козьему: шерсть не шерсть, висит одежонка клочьями, в руках шапочка...

— Скорым шагом вперед марш, Свистунов!

Я с ружьем позади! Семенит он босыми ногами, по гальке идти на собственной подошве неудобно... согнулся... одеревенел... По затылку вижу: к смерти приготовился. Прошел с версту.

— Стой, Свистунов! привал сделаем.

Остановился, в полуоборот на меня смотрит. Лицо его мне бросилось в глаза: борода, усы, чернявый, на глазах слезы, губы судорога сводит, к смерти приготовился. Появилось у меня давление под ложечкой, во рту горько, в глотке пересохло.

— Ты откуда появился? По каким обстоятельствам? Голова твоя приметная...

— Беглый я... с каторги... оголодал... трои сутки не ел...

— Не ел трои сутки?!

Забирайте... накормите... удавиться в пору.

Оголодал, говоришь? Есть хочешь? — сорвалось у меня с языка.

Его лицо вдруг побледнело, перекопилось, губы запрыгали, сделался он страшным, неузнаваемым.

Я отскочил в сторону, ружье на руку.

— Убивать, так убивай, ваше благородие, над голодным человеком не ругайся... весь я тут, пропадаю с голоду.

Упал он на гальку, как сноп свалился. Застонал. Заплакал. Я растерялся. Туда-сюда, ружье из рук вывалилось. Оторвал свой мешок от пояса... руки дрожат. Вытащил пирог, мясо жареное, что жена наложила.

— Не плачь, не плачь! Что ты?! Бери, ешь, бог с тобой. Не хорошо... Не надо.

Топчусь перед ним с протянутой рукой, в глазах туман.

Ухватил он в руки пирог и мясо, слезы по щекам. Ест, давит-ся. На гальку уселся. Я перед ним на корточках сижу, как дурак, во все глаза смотрю... Скорехонько он с седой покончил; глаза закрыл, вздохнул раза четыре, усмехнулся: минуты три сидел истуканом... Не успел я опомниться, как он растянулся передо мной, лицом в гальку, головой к моим ногам.

— Отец родной, батюшка, милосердный человек! спас от смерти, умирал с голоду. Не забуду... Веди куда хочешь, пойду, как собака.

— Вставай, братец, вставай! Господу богу кланяйся, человеку не надо. Идем на этап. Какой ты отренанный! Ни портов, ни рубахи, одни клочья. Как я тебя жене покажу?!

Пошли мы с ним рядом, отошли с версту, я хватился ружья: оставил, где с ним сидел. Оторопел, стало мне досадно.

— Связался с тобой, Свистунов, ружье забыл, оставил на берегу.

— Я схожу, ваше благородие, стриженная девка косы не успеет заплести — одной минутой сбегаю.

Он побегал; я уселся на бережок дожидаться да и вспомнил: ружье заряжено, в обоих стволах дробь крупная, пистоны наде-ты, — убьет старого дурака! Смыло вспомнил, бежать хотел к этапу, да с таким брюхом куда побежишь?! До дому версты три, кругом тайга, устал, солнцем раскалило, решил дожидаться... Идет он обратно, ружье в руках; дрогнув я, на ноги поднялся: подошел, ружье отдал.

— Простите, ваше благородие, ждате заставил: ноги не совсем в порядке, скоро ходить не могу.

Взял я ружье в руки, духом окреп, с души камень свалился. Говорю ему:

— Дурак ты, дурак, Свистунов! В руках ружье было, убил бы меня, ружье забрал; порох, дробь в кармане... Сапоги мои тебе пригодились бы, порты, рубаха. Представлю по начальству — чего ты выиграл?

— Людей не убивают, ваше благородие, люди приговораются нашему брату...

Жил он у меня месяца полтора, оказался печником; печи в этапе, в казарме, в моей квартире исправил, вертуны из жести в трубы вставил: отворишь дверку, жужжит, что твоя музыка! Моя жена, ребята с ним очень сдружились.

— Иван, сделай свистушку! — делает. — Иван, сделай пильника! — делает. — Иван, повози на горбушке! — возит по огороде, рысью бежит, прискакивает, а ребятам весело.

На реку ребят с ним отпускал раков ловить, пескарей на удочку; самоцветных камушков набрал он для ребят целый мешок, посейчас в чуланчике валяются на память о покойных... Жене в огороде помогал, воду носил, огурцы поливал, беседку в огороде выстроил с крышей. Солдатам в казарме сказки рассказывал, слушают, ночи просиживают. Прошла через этап в Кару каторжная партия; через две недели вторая прошла. Проводил я, вернулся домой, является Свистунов.

— Работы я закончил, ваше благородие, куда прикажете идти?

Смотрю на него: отдохнул, поздоровел, выправился.

— Собираешься уходить?

— Пора, ваше благородие, своими делами заняться, покорнейше вас благодарю!

— Иди с богом, спасибо за работу! Вот тебе нятишница, больше дать не могу.

— Прощенья просим, ваше благородие! Спасибо за хлеб, за соль; чем прогневил, простите: дело наше особое, на всяк час волком смотришь, обмолвиться недолго...

Жаль было с ним расставаться, явилась привычка; с другой стороны — беглый каторжный.

— Иди, говорю, — Свистунов, на все четыре стороны, я тебя не видел, ты меня не видел; мы с тобой не встречались. Не помняй меня лицом.

Повалился он в ноги... Ушел, куда ушел? Не знаю! Ребята, жена очень сожалели...

На этом дело не кончилось; года через два приходит на этап партия, принимаю, подсчитываю, проверяю.

— Иван без прозвания Запечный!

— Здесь, ваше благородие!

Взглянул я — передо мной Свистунов! Руки по швам, вытянулся по-военному, в глаза смотрит...

— Как твоя фамилия?

— Иван без прозвания, Запечный, ваше благородие! — с ноги на ногу переступает, кандалами побрякивает...

— Тэ-эк-с! — удивился я встрече.

Он на меня смотрит; партия притихла.

— Не знавал ли ты, Запечный, Ивана Свистунова? Знакомый мне бывал человек, потерял его из виду.

Встречались, ваше благородие, бывал в знакомстве, приказал долго жить! Утонул по несчастному случаю.

Жаль, говорю, очень жаль! Хороший был человек, надежный, мастер превосходный, печи нам поправлял.

— Судьба, ваше благородие, утонуть всякий может: один утонул, умер, на его место другой хорошим человеком окажется. Если работа найдется, для вашего благородия и Запечный потрудится.

— Хорошо, говорю, заходи.

Заходил он к нам: ребята узнали, обрадовались, с колен не сходят.

— Куда идешь, Иван? Оставайся с нами, пыльщика устроишь, свистульку. На реку пойдем рыбу удить, камешки собирать. Папа, мама тебя любят, часто вспоминали.

Замигал Запечный глазами, слезы потекли по усам, по бороде. Я, знаете, вышел из комнаты, не препятствовал... Назавтра ушел он с партией; с тех пор о нем ни слуху ни духу.

Капитан замолчал и остановился среди комнаты, растерянно-добродушным взглядом окидывал он меня, бегал глазами по столу, по стенам, машинально запахивая расхоловшиеся полы пальто. Кругом стояла невозмутимая тишина. Растерянно-педоумевающая фигура капитана, с трубкой в левой руке, ярко освещалась солнечными лучами, врывавшимися в окна, заполняя весенним светом убогую комнату; его широкое, скуластое, опухшее лицо, в ярком солнечном освещении, казалось положительно прекрасным.

БРОДЯГА

Было часов восемь холодного декабрьского вечера: резкий северо-западный ветер гнал тучи снега, застилая глаза редким прохожим, пронизывая холодом, заставляя нервно вздрагивать от прикосновения к телу снежных таявших крупинок... Хмуро-неприветливым казался город в снежной метели с кремлевскими стенами на горе, с пустынными снежными улицами, освещенными керосиновыми фонарями, мелькавшими едва приметными красноватыми точками...

— Милостивый государь, милостивый государь... ваше сиятельство... па-азвольте!.. Господин генерал!.. на дневное пропитание... без роду... без племени... Три дня не ел, не пил, — обдавая запахом сивушного перегара, густым дребезжающим басовым голосом, скороговоркой выкрикивал выпрынувший из тениоты, как дух, приземистый, коренастый человек с длинным посохом в правой руке, с волосатым лицом, в долгополом одеянии, с картузом на голове, засыпанным снегом, висевшими по плечи волосами. Шаркая подошвами, забегая вперед, он приседал на под-

гибавшихся коленях, кашлял, харкал, кряхтел, сопел от одышки, опасливо озирался по сторонам, продолжая настойчиво выговаривать:

— Язвен за грехи, мучим за беззакония... на дневное пропитание... ваше сиятельство, господи всесветлый!.. Извержен, яко сосуд скудельный... яко благ, яко паг, яко нет ничего... в вожделенном одиночестве... Единственный пяточок на пропитание!.. пробираюсь к святым, нетленным мощам праведного Серафима во исцеление души и тела вашего сиятельства!.. — просительно гудел басовой дребезжащий голос, переходя в захлебывающиеся легочные хрипы.

— Вы из духовного звания? — вырвался вопрос; мы остановились...

— Угадали, всесветлое сиятельство, — извержен! Яко ити-на небесная, не собираю в житницу, питаюсь доброхотными даяниями! — он суетливо топтался, широкое, скуластое волосатое лицо с бегущими глазами выражало жадность получения подачки, скорого избавления касательства с незнакомым человеком.

— Зайдемте в трактир обогреться, — предложил я неожиданному знакомому: мне страстно захотелось разглядеть ближе долговолосого человека.

— Милостивый государь... ваше сиятельство!.. пяточок на пропитание, — торопливо говорил он, переходя с левой стороны на правую, — недостойн развязать ремень сапога... Три копейки на фунт пеклевана... ограничусь копейкой... помяни вас господи во царствии своем! — Он торопливо отходил, возвращаясь с протянутой рукой, топтался на месте, втягивая голову в воротник одеяния...

— Недостойн... ремень... сапога. Ограничусь копейкой!

— Желаете обогреться — зайдемте, не желаете — честь имею кланяться! — Я двинулся.

Простояв с минуту столбом, хлопнув руками по бедрам, он нехотя пошел.

— Согласен!.. Гладен, хладен, истощен, обессилен, — гудел сзади басовой голос.

В теплой, пустовавшей от посетителей комнате трактирного заведения при поданной на стол вышивке, закуске неожиданный знакомый беспокойно заерзал на стуле, торопливо огер полотно кафтана мокрое лицо, бороду, провел по волосам; разгладил усы, жадно бегущими глазами смотрел на графинчик...

— Согревайтесь! — Я придвинул рюмку; запрокинув голову, он выпил.

— Нельзя ли повторить? Милостивый человек, избавьте от смерти... освежить голову... Христа ради! — Стоп запойного пьяницы, страдающего, умирающего, готового зарезать за каню водки послышался в голосе собеседника: лицо побледнело, в округлившись глазах замелькали огоньки, он тяжело дышал. Я налил стакан водки.

Не торонясь, загибая голову, поддерживая стакан дрожащими руками, сквозь зубы цедил он спиртовую влагу: было слышно, как булькала жидкость в пустовавшем желудке. Поставив стакан на стол, он прислушивался...

— Потяя-пула-а по жилам спасительница, утешительница в скорбях и напастях, по Ноеву подобию потянула, — заговорил он полушепотом, — от смерти избавили, от тяжкого греха! Обогрели бродягу, расстригу Зосиму Петрова Преволенского. Зачтется на страшном суде господнем. Придет суд праведный, сокрушит гордыню... Един Зосима на белом свете, жена упокоилась после первых родов, — давно это было, ваше сиятельство!.. Плакал, убивался... Тридцать два года от роду... невредим телесно... Предлагали черные одеяния, убоился, отказался, остался в дяконовском сане... Не устоял — человек бо есмь!.. Жизнь пошла прахом... Многое множество долговолосых обретаются в подобии моем... Эх, ваше сиятельство! Позвольте бродяге, расстриге еще влаги живительной выпить, залить горя реченку бездонную! — в голосе слышались рыдания.

Круглое, широкое, одутловатое с рядом бесконечных морщин на высоком лбу, щеках деревянное лицо, синебагровый картофелиной нос, включенная седая окладистая борода, седые нависшие усы, седые на голове волосы выдавали возраст за шестьдесят с прибавкой. Слезающиеся глаза с опухшими веками, выцветшие, безжизненные, туло-равнодушные, загорались, оживлялись при графинчике с водкой... Надрываясь, ел он поданную солянику, кряхтя, сопя, как крючник, сгибавшийся под тяжестью ноши, ел быстро, проглатывая куски, не пережевывая. Теплота поменения, выпивка, закуска, видимо, расслабляюще действовали на моего собеседника: он сидел согнувшись, размякший, вспотевший, с покрасневшим лицом, посапывая носом, покрывая, тяжело дыша, полою кафтана изредка обтирая вспотевшую голову.

— Отогрелся, напился, велика милость господя! — вставая на ноги, говорил он полугромко. — «Благодарю тя, создатель, яко насытил мя грешного, недостойного...» — истово крестясь, скороговоркой, говорил он слова молитвы. Тяжело вздохнув, сел, продолжая шевелить губами.

— Не желаете ли стакан пива выпить, выкурить панироусу: хлеб-соль позолотить, как говорится?..

— Эх, милостивый человек! — воскликнул собеседник. — Судьба распоряжается помимо желаний: схватит за длинные волосы, покрутит, повертит и... об угол! Беда наша, долговолосых, в единобракосочетании: единая супруга положена; я бракосочетавший мирского человека второй, третий раз, спасал его душу, тело от скверны... Потеряв сам супругу, сделался пропойцей, изверженным, татью ночной! Разве таковые от пива отказываются?! От содомского греха не откажусь, не только от пива!..

хо-хо-хо!.. — засмеялся он хриплым сдержанным смехом. — Содомитяне! Кто содомитяне?! От кого сresi, раскол усиливаются? Христа-господа подменили... «Кто безгрешен, возьми камень, брось первый в блудницу»... Нуле, ваше сиятельство, не разойдутся, не устыдятся, побьют камением... — он замолчал, опустив на грудь голову...

— Давно не слышал ласкового слова, — забыл, когда слышал! — хрипло, возбужденно забасил вдруг собеседник. — Люди -- зверье лютое, homo hominis lupus est, когда-то зубрили в бурсе... А и пороли же нас в бурсе, ваше сиятельство, за латинские вокабулы!..

— Какое же я ваше сиятельство?! — спросил я укоризненно.

— Виноват!.. Язык без костей, привык болтать. Тридцать лет болтает по ремеслу, по долголетней привычке для прокормления, насыщения маммона... Без языка на что я пригоден?! Удавку на шею, камень к веревке... в воду... Языком прокармливаемся: всякую свинью в человеческом образе графским величеством называть приходится: лишний пятак людская мразь дает за величания... Назовешь протоиереем, иереем несоответствующего этому чину: масла в кашу не клади, ослабится, что кот на кашу, глаза сверкают... Любит величания род людской, любит не по чину, званию! — протянул он и замолчал: в полузакрытых глазах, покрасневшем лице проглядывало удовольствие насытившегося человека.

— Больше тридцати лет странствую по монастырям, обителям, — как бы очнувшись, заговорил собеседник, — языком прокармливаюсь: песни петь, плясать, сказки рассказывать Зосима большой мастер!.. В архиерейском хоре пел первого баса, за голос священнодиаканство получил: умерла жена, пошло прахом, к чертовой матери!.. Три года жил человеком, любил жену больше себя, хорошая была женщина, царство ей небесное! «С тобой жить не страшно, Зосима Петрович, — говаривала покойница, — наплодишь ребят, не дашь умереть с голоду...» Попустил господь, умерла Настя, — дрогнувшим голосом продолжал рассказчик. — Осатанел, ума рехнулся, пошел мир божий вверх ногами!.. Настоятель храма отчитывал, молебны служил, обедни... Покатился под гору: не пил водку — жрал с утра до вечера... Обзавелся супругой с левой стороны. Возлюбил небрачную, воскрес духом, остепенился, проглянуло ясное солнышко. Сына, дочку прижил, испытал радость родителя... Донесли добрые люди, я не отвергал... снова мертвую запил... Что было начато честным трудом, размытарил на консисторские взятки: цеплялся за утерянное счастье... Отсекли член гангренозный, жену, детей, что щепят с сукой, на мороз выбросили... Меня в скоморохи, пропойцу превратили...

— Превратился Зосима в бездельника, пропойцу, — утирая лицо полою кафтана, продолжал рассказчик, — для чьего благо-

получия? Ходит из края в край земли русской православной, скоромнишествует, погружается в греховную пучину... Куда деваться, чем кормиться, поддерживать грешную плоть?! Ха-ха-ха! — засмеялся он раскатисто. — Волосы длинные, духовные волосы: божественное с уст не сходит, спина поклонная, гибкая, гнется до земли свободнехонько. Таковые монахам правятся. Заменяешь очередных, читаешь на клиросе. После службы отдых в келье: водочка, свинятинка, курятинка, девчатишка... не возбраняется... разрешается... Хе-хе-хе! — смеялся ехидно Зосима; долго он смеялся глухим, обрывающимся смехом. — Не пересказывать чего видывал! — он махнул над столом рукой. — Мы, поны, гнием сверху, монахи — с сердцевины; могуч дуб по наружности, сердцевина выгнила — долго не продержится, свалит на землю первая буря! — Он замолчал; налив стакан пива, влил рюмки три водки, выпил залпом; минут через пять, позторив ту же операцию, начал перню, подозрительно оглядываясь; торопливо крестясь, стал собираться...

— Пора по домам! — во многоглаголании несть спасения: что было — прошло, бывшем поросло; осталась одна шкура барабанная, прохвост в придачу! Нельзя ли, ваше сиятельство, гривенничек с вас получить на пропитание?.. Зосима у господина бога, у праведного Серафима... с вашего позволения! — Он торопливо сливал остатки водки, пива в один стакан, жадно опрокидывал в рот.

— Оставлять денежные обрезки не приходится, — бормотал он торопливо. — Грабители, блудодеи копейкой царства небесного добиваются, грошевой восковой свечкой тысячи в карманы складывают. Бывал на всероссийском торжище, видывал: семьдесят семь блудниц седьмерицею вместе взятых, по срамословию одного купца не стоят... Содомитяне! Христа-господа забыли, золотого змея выковали, ему поклоняются!... — он, видимо, пьянел, возбуждался пьяным негодованием: лицо багровело, нижняя губа отвисла.

— Что же, ваше сиятельство, гривенничек-то мне пожертвуйте? — Я дал рублевку.

— Спасибо!.. помолюсь уголку Серафиму у святых мощей праведных... во спасение души...

На дворе дул ветер, неслись снежные тучи, замечая человеческие следы, загромождавая сугробами улицы.

— Счастливо оставаться, ваше сиятельство, не поминайте лихом! — не то насмешливо, не то серьезно прозвучал в темноте басовой, дребезжащий голос.

— Гришкам Отрепьевым, Иванам Мазслам, Ванькам Каинам, от Кронштадта до Камчатки проживающим, — ана-а-феет-а! — вдруг в шуме и свисте метели послышался басовой захлебывающийся голос.

Ветер заглушил его. Снег крутило, несло, замечая, заравнивая следы ушедшего во тьму человека...

ГРИ-ГРИ

Зайкаясь, он сразу не выговаривал собственного имени — Григорий, товарищами назывался по первому слогу, что привилось к нему, как прирожденное.

В начале семидесятых годов прошлого столетия, в чине есаула, Гри-Гри был переведен из российской пехотной части в конную Забайкальского казачьего войска. Лет сорока пяти, зайка, с лысой головой, голубыми, навывате, близорукими глазами, в очках, с одуловатым лицом, выбритым подбородком, рыжими бакенбардами, солидным брюшком, он был общим приятелем, товарищем, любил его и казаки. Проиграв в карты полученное для раздачи жалованье, «амуничные» деньги, он откровенно заявил:

— Вчера я, братцы, проиграл в карты ваше жалованье, амуничные; обождете месяц — скажу спасибо, — отдам деньги с процентами; не обождете — подам рапорт о растрате, отдадут меня под суд. Подумайте, через часок вахмистр мне доложит!

Через час Гри-Гри имел в руках ведомости с расписками в получении денег. О проигрыше узнало начальство: приезжали, допрашивали, ссылались на «достоверные сведения»...

— Претензий не имеем! Жалованье, амуничные получены полностью.

...Через месяц деньги были уплачены в полуторном размере.

Малоподвижный, флегматик, Гри-Гри отличался доступностью, добродушной готовностью помочь в нужде подчиненному, побеседовать об оставленной жене, ребятах, отце, матери, хозяйстве, сердечно войти в мельчайшую нужду подчиненного. Семейный, — жена, дети оставались в России, которым высылал половину содержания, — он понимал пригорюнившегося человека.

— Хасан Хыбални, ваша благородия! — докладывал денщик бурят Габдаров, плохо владевший русским языком.

— Чего ему надо?

— Наша не знают, ваша благородия!

— Зови!

— Чего тебе? Говори, братец, скорее, мне некогда: тороплюсь, не задерживай...

— Деньжонок, ваше благородие! Обносился... рубаху переменить нечем... Под амуничные, ваше благородие.

— Деньжонок?! — Гри-Гри оттопыривал губы, подносил к носу указательный палец.

— Женатый?

— Так точно, ваше благородие! Трое детей... недостатки...

— Письмо давно получил?

— Даю, ваше благородие... сумлеваюсь...

— Я напишу в станицу, узнаем. Сомневаться нечего... денятся писать. Очень нуждаешься?

— Так точно, ваше благородие! Обносился, рубахи нет на замену...

Бери, меняй пятирублевку: три мне, два тебе.

Покорнейше благодарим, ваше благородие!

Без разговоров! Направо кругом!

Гри-Гри не жаловался на неуплату, не записывал заемщиков, редко спрашивал фамилию.

На сотенные учения он выезжал неопустительно: ехал впереди сотни, позади трубач на белой лошади. Во время ученья, верхом на коне, стоял в сторонке, покуривал трубочку, внимательно наблюдал за конными передвижениями, примерной рубкой, атаками лавой, которыми руководил вахмистр. При начинавшейся джигитовке закрывал глаза, машинально крестился, губы шептали: «Спаси господи отчаянные головы!». В одиннадцать часов подъезжал к фронту, благодарил, командовал.

— Спасибо, молодцы! Справа по одному, песенники вперед! Ша-а-агом ма-а-арш! — Впереди сотни победоносно въезжал в город.

Накануне инспекторских смотров Гри-Гри обходил помещения сотни, осматривал обмундирование, конное снаряжение. Ощупывая, поглаживая мундирное, шароварное сукно, усиленно дул на поднимающийся ворс, подносил к носу, проводил пальцем по ремешкам португеев, вынимал из ножен шашки. Заставлял казаков приподнимать ноги, приседая, осматривал каблуки, измерял высоту их пальцем.

— Не форменный каблук, понял?

— Понял, ваше благородие!

Осматривая лошадей, обращал особое внимание на равномерную подрезку хвостов; пробуя сытость, тыкал кулаком лошади в брюхо.

— Сытый конь, селезень крикает! Хвосты подрезать на пол-вершка... Понял, вахмистр?

— Понял, ваше благородие!

Заходя на кухню, плотно закусывал «пробной порцией» щей и каши, выпивал стакана три квасу, на прощание говорил:

— Завтра, братцы, инспекторский смотр, надеюсь, в грязь лицом не ударите, командира не оконфузите...

— Постараемся, ваше благородие!

— Спасибо, молодцы, за службу!

— Рады стараться, ваше благородие!

На смотре сотня творила чудеса. Командовал вахмистр, начальство восхищалось. Гри-Гри, стоявший в сторонке, восхищался не меньше: слабые познания его в конных построениях были очевидны.

— Спасибо, сотня, молодцами показали себя! — хвалил генерал.

— Рады стараться, ваше превосходительство!

— Вам, есаул, следует заняться конным строем... знаете... командир сотни... образец для нижних чинов... неудобно... вахмистр командует, командир в стороне... Лошади в телах, обмун-

дирование, снаряжение не вполне удовлетворительны... К следующему смотру, надеюсь, увижу перемену к лучшему...

— Слушаю, ваше превосходительство!

После праздника с утренним рапортом являлся вахмистр.

— В сотне благополучно, ваше благородие!

— Много было пьяных?

— Никак нет! Пьяных не было, ваше благородие; вынимших человек десяток, два, три, до пятка насбиралось... в своих видах находились... Позвольте доложить: Ваулина, Путничева, Толоркова, Гребенкова, Шарункова, Гиблого, человек десяток за дебоширство связали, ночевали они под нарами... Все благополучно...

— Спасибо, вахмистр! Опохмелиться хочешь?

— Как прикажете, ваше благородие!

— Доставай бутылку из-под кровати, закусить спроси Габдарова, может, корка хлеба найдется.

— Не требуется, ваше благородие!

Занимая небольшую комнату у мещанки Саврасовой, находясь до поздней ночи в военном собрании, он предоставлял хозяйничать Габдарову, который, по силе разума, соблюдал интересы «сотенного»...

Гри-Гри всегда торопился, был рассеян, забывчив.

Заходил к нему на квартиру как-то помощник адъютанта областного штаба. Поговорили о том, о сем. Между прочим, помощник адъютанта нечаянно обронил тут официальную записку о том, что ему необходимо «завтрашнего числа по делам службы» явиться к генералу.

Габдаров, подобрав записку, положил ее на стол, на видном месте. Вернувшись поздно, Гри-Гри проспал назначенный в записке срок. Увидев записку и отнес ее к себе, он был крайне встревожен необычным требованием командующего войсками. Не спросив Габдарова о том, кто и когда принес бумагу, Гри-Гри торопливо оделся в полную парадную форму и поспешил в генеральскую приемную.

— Генерала нет дома, вышел в войсковое правление. — сообщил дежурный чиновник.

— Подожду возвращения, приказано явиться!

Ждать пришлось часов пять, подошло время обеда, возвращается генерал.

— По приказанию вашего превосходительства, имею честь явиться!

— Я не отдавал подобного приказа, есаул!

Все разъяснилось. Сконфуженный Гри-Гри извинился за беспокойство, но дело этим не исправилось...

Находясь однажды в военном собрании, начав просматривать принесенный с почты номер «Инвалида», в рубрике «Уволенных в запас» он нашел свою фамилию.

— Иван Петрович! Иван Петрович! — подозвал он торопливо приятеля. — Скажи, пожалуйста, это моя фамилия?

Ваша, Гри-Гри!

Не может быть! Я в запас не подавал. наверное однофамилец...

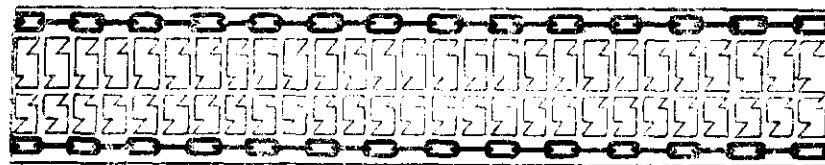
-- Вы не подавали, за вас подало начальство!

- Начальство?.. Пожалуй...

Сотня на прощание поднесла Гри-Гри икону Георгия Победоносца; товарищи подпиской дали возможность выехать из области.



Записки врача



В СТОРОНЕ ОТ ЖИЗНИ

Около половины сентября начала семидесятых годов прошлого столетия в помещении штаба линейного батальона, расположенного в Даурии, ожидал командира младший, не имеющий чина врач Кудряшов. Затянутый в новый, с иголки мундир, со шпалой у левого бока, со шпорами, он невольно прислушивался к разговорам офицеров.

— Чем вчера закончил, Базиль?..

— Был богат, как во сне — проигрался. Голова болит, командир требует.

— Не-е по-о-зд-ра-в-ля-ю! — протянул пожилой канитан.

— Погорячитс-я командир, тем дело кончитс-я.

— Будет зависеть, в каких градусах супруга выпустит.

— Дама серьезная! На днях жене выговор сделала: «Почему не поклонилс-я? Нехорошо не замечать командиршу»... Жена из дому не выходила.

— Ихи-д-ная баба! — подтвердил товарищ.

— Для молодых прапоров находка... — смеялись собеседники.

Кудряшов вспомнил наставления старшего врача, Мардария Петровича Тихомиркина, рекомендовавшего зайти к супруге командира.

— Ваш визит, коллега, будет приятен Марии Андреевне, жить будет легче. Поверьте старшему товарищу! Порядки в батальоне другие, чем в академии, многое придется выбросить из головы.

Кудряшов дал слово зайти к командирше; Тихомиркин жал руку, давал советы:

— Командир — службист, военная косточка, любит быстрые суворовские ответы: «Не мямли, что брюхата-я баба!» «Руби, как гонорем, плащи весело!» — его любимые присловья. Говорите с

ним громко, отчетливо, голову прямо, ноги носок к носку, каблук к каблуку. Командирский глаз наметан, собаку съел по службе!.. Виден, коллега, первый служебный шаг к начальнику, — шаг, определяющий горизонты. Не опоздайте, лучше обождать, чем попасть в неловкое положение... От командира — к Марии Андреевне... Сходить к командирше ноги не отвалятся, а в службе — заручка; двадцать девятый год служу, выпуска тысяча восемьсот сорок третьего года, за пять лет до венгерской кампании, приспособился... Вечером заходите, расскажете о первых служебных шагах...

В непривычной обстановке Кудряшов сидел, как на горячих углях. Мундир душил шею, сдавливал грудь, резал подмышками; выручил писарь с нашивками на рукаве.

Его высокоблагородие, командир батальона, прибыл, пожалуйте за мной!

Через темные переходы подошли к запертой двери.

— Кто у командира? — шепотом спросил писарь стоявшего у дверей солдата.

Подполковник Жублин! — едва слышно ответил солдат.

— Придется подождать, — сказал писарь: — выйдут его высокоблагородие, вестовой доложит...

Около получаса рассматривал Кудряшов висевшее на стене пальто командирское пальто, грязный пол, облупившиеся стены, суетившегося солдата; из-за дверей глухо доносился крикливый голос. Солдат с бритым подбородком, подстриженными бакенбардами, закрученными усами, с озабоченным лицом, крадучись, на цыпочках, подходил к двери, прикладывая ухо к замочной скважине, долго прислушивался...

— Сердится командир, — отходя от двери, озабоченно шептал он: — будет проборка...

Вышел высокий офицер; солдат юркнул к двери, торопливо вернулся.

— Пожалуйте, ваше благородие!

В светлой комнате за письменным столом лицом к входной двери сидел плечистый командир батальона. Круглая, как шар, голова, остриженные рыжие волосы, седые бакенбарды, нависшие усы, широкое взнузданное лицо, торчащие уши, выпуклые белесоватые с красными жилками глаза; этот общий склад приподнявшейся на ногах фигуры, массивной, с выпяченной грудью, с остановившимся стеклянным взглядом — запечатлелся в памяти.

— Имею честь явиться, полковник, — возбужденно говорил Кудряшов: — младший врач вверенного вам батальона, не имеющий чина!

Он держал правую приподнятую руку у непокрытой головы. На него в упор смотрели выпуклые, округлившиеся глаза.

— Доктор! чему вас учат в академии?! — опускаясь грузно на стул, спросил командир. — Вы сколько лет учились?

— Пять лет, полковник!

— Пять лет — срок немалый, выучиться можно: видимо, вы занимались не усердно. Во-первых, я для вас не полковник, а господин полковник; во-вторых, когда представляются начальнику без головного убора, руку для отдания чести к голове не подносят; в-третьих, когда подчиненный стоит перед начальником, ноги должны быть сдвинуты плотно пятка к пятке, носок к носку, колено к колену; в-четвертых, перед начальником не переступают с ноги на ногу, не выделяют антраша. Рекомендую мои замечания принять к исполнению, беспрекословно подчиняться старшему врачу. Старший врач — ваш непосредственный начальник, худому не научит; с господами офицерами жить в мире-согласии; ознакомиться с уставом внутренней службы. Подавая медицинскую помощь нижним чинам, что входит в прямой круг ваших обязанностей, помните, что вы не имеете права входить с солдатами в дружеские, товарищеские отношения, подавать нижним чинам руку, обращаться на «вы». Нижний чин — есть нижний чин, рядовой — низшее воинское звание; близкое с ним общение офицерских чинов недопустимо. Надеюсь, мои требования исполните без повторений, без взысканий; сожалею, что нас не обучали строю, порядкам военной службы. Мое вам почтение!

Кудряшов долго возился в коридоре; пальто цеплялось за эпюлеты, шагу; калоши не входили на сапоги...

— К кому заходили, у кого побывали, молодой человек? — был первый вопрос командирши. — Очень-очень рада вашему приходу, сердечно благодарю за внимание к старухе. Вы юный, молодой, неопытный. Как я завидую молодости!.. Боже, как завидую молодости! Пройдет молодость, минует счастье жизни, не увидишь, как она проходит!.. Один раз молодость в жизни бывает, не возвращается. Берегите себя, молодой человек, пользуйтесь благами жизни осмотрительно. Дайте мне вашу честную молодую руку! Кипит, бурлит молодое сердце, жизнь кипит, избыток сил, горячее сердце требует любви. Как старуха, целую вас в лоб; не забывайте нас, я и муж будем рады вашим посещениям...

Кудряшов зашел к старшему врачу, Мардарию Петровичу.

— Слышал, коллега, — пожимая руку, говорил Мардарий Петрович, — слышал в подробности... Брависсимо, коллега! Поздравляю! Влюбилась по уши... — поддерживая руками колыхавшийся живот, смеялся он раскатистым смехом. — Покорили сердце командирши, ей-богу, покорили. Командир протестовал. «Какой он служака?! Ноги в стороны, не разберешь, куда носки смотрят, без головного убора руку поднял для отдания чести. Ха-ха-ха! Чему их учат в академии?!»

Будет тебе, Николай Иванович! Человек молодой, первый раз видит военные порядки, тонкостей не знает. Почет твоему мундиру оказал, меня не забыл, старуху.

— Меня, душа моя, удивляет напрасная трата казенных денег: выпускают на службу, не обучив строю, воинским уставам, нужным приемам. Конюх, кашевар к голой голове руку не поднесут. К козырьку руку прикладывают, к козырьку! Последний денщик об этом знает.

— Мы с Мардарием Петровичем обучим; ты, Николя, не мешайся.

— Понимаете, коллега? под защиту взяла, под крылышко!.. Без протекций, без защиты нашему брату, военному лекарю — мат! Особых знаний на службе не требуется. Солдатские болезни не сложны, таковы и методы лечения. Начальством до мелочей все предусмотрено. Вы стипендиат?

— Пять лет обязательной службы.

— Служба, коллега, заберет в руки. Я говорю конфиденциально, по доверию, сказанное разглашению не подлежит, так сказать, товарищеская тайна. Для нас с вами, дорогой коллега, служебная дорога одна: лет на десять, пятнадцать — младший врач, полтора десятка — старший, закончить карьеру дивизионным, бригадным врачом — мечта естественная. Корпусным врачом, окружным медицинским инспектором... Хе-хе-хе!.. — потирая руки, смеялся он дребезжащим смехом. — Плох тот казак, который не мечтает быть атаманом! Так и мы, коллега; где сухо — брюхом, где мокро — на коленочках. Не правду ли говорю?.. Сентименты к чёрту! Аттестовать, представлять к наградам солдат меня не будет. Солдаты сами по себе, мы сами по себе. Надеюсь, коллега, увеличения процента заболеваемости в батальоне не допустите; я держу определенную норму, запросов об усиленной заболеваемости не допускаю. Нормальный процент заболеваний неизбежен, но два-три месяца в году «ноль» заболеваний очень-очень бросается в глаза, поднимает престиж воинской части. Шляются солдаты в околоток, симулируют; наша обязанность противодействовать. Для лодырей приготовлена микстура: выпьет ложку, рвать не рвет — идти вторично не решается. В общем, дело идет неурно. Завтра на службу, дорогой коллега, сегодня поболтаем. Надеюсь, будем друзьями! Бывали со мной каверзы, — закуривая папиросу, откидываясь на спинку кресла, заговорил Мардарий Петрович: — расскажу один случай для знакомства.

— Прибыл в батальон младший врач Ефремов, как и вы, с академической скамейки, через год отравился морфием, оставив записку: «Нет выхода, кругом озверелость, грабеж, издевательство, лицемерие, помноженное на невежество». Странный был человек, по-моему, ненормальный! Батальонные дамы с ума по нему сходили, начиная с Марьи Андреевны. Не оказал он сожаления к женским слабостям: интимнейшие признания, любовные записки:

«отогреться на горячей, пылающей груди, вкусить неземной радости, райского наслаждения любящего сердца, погрузиться в любовный нектар, забыть на трепещущей груди невзгоды житейские», — подобрал, прошнуровал, припечатал, представив в окружное военно-медицинское управление с просьбой о переводе в другой батальон. Назначили секретное дознание, приехал военно-медицинский инспектор, батальонные дамы вломились в амбицию. «С лекаришкой шутили, кокетничали, поддразнивали, он принял серьезно». «Был бы порядочный человек, шутки за серьезное не принял». «Человек молодой, одинокий, скучает: по доброте сердечной, естественному милосердию приняли участие; он понял в грязную сторону. Разве мы виноваты?!» — говорила командирша Мария Андреевна.

— Это, это... знаете, ваше превосходительство, — играя черными глазами, с высоко поднимавшейся грудью, взволнованно говорила медицинскому инспектору красивая, молодая подполковница, приглашавшая Ефремова «отдохнуть на ее измученной груди» — это выродок, человек кабацкого воспитания. Выдавать женские тайны... затаенную думу... сердечную рану... кровотокающую... болезненную... Вникните, ваше превосходительство! Ни чести, ни совести в лекаришке. Накажите его примерно, ваше превосходительство, отдайте под суд за распространение ложных, позорящих слухов.

Инспектор улыбался, не отводил глаз от пышной, волновавшейся груди подполковницы.

— Для вас, Нина Ивановна, сделаем, что в нашей власти, не волнуйтесь, не придавайте значения дерзостям мальчишки.

— Надо сказать правду, — продолжал Мардарий Петрович, — Ефремов работал усердно; не ко двору пришелся!.. С утра до вечера с микроскопом возился, химическими пробирками; кроме околотка, нигде не бывал, общества офицеров избегал: — «Нас, военных врачей, — говорил он на мои замечания, — терпят около офицерской среды, равноправными не признают. При равных взносах на военное собрание, в офицерский капитал, хозяйин собрания, капитала — офицер, врач — гость; перед гостем двери захлопнут без объяснения причин. Мы — педоноски военного ведомства; какая дружба при неравных правах?!»

— Общение требуется дисциплиной, рассуждать не приходится, — заявил я категорически.

— Дисциплиной, Мардарий Петрович, пьянства, мордобойства, сквернословия, картежной игры не требуется, однако это главные киты дружеских общений...

Не любили его офицеры, высмеивали! Поручик Нилькин представлял его в лицах. Особенно не любили за записки: без письменного извещения о болезни он офицерских квартир не посещал.

— Доложи, голубчик, барину, барыне, — говорил он послан-

вему денщику: — пусть записочку напишут, для кого, для чего доктор требуется. Ты знаешь, для чего требуется?

— Никак нет, ваше благородье! Его благородье капитан Спичокин приказали: «Сходи, позови доктрура, чтобы немедленно явился», — я пошел.

— Доложи, голубчик, капитану, пусть записочку напишет: два-три слова не обременят его благородье — для меня облегчение: буду знать, чего забирать с собою.— Приучил к запискам, в подаче помощи никогда не отказывал. Говорил: «Собираю записки «для коллекции». Взгляните, Мардарий Петрович, на записочку подполковника Кошкина. «Муженая нога разболелась. Собраться коллекция, продам любителю редкостей, сделаюсь богатым человеком, за границу поеду для усовершенствования»...

— Гадость он и мне устроил, поступил не по-товарищески, — с раздражением в голосе продолжал Мардарий Петрович: — коллега должен быть коллегой при всяких обстоятельствах. Поручил ему, как младшему врачу, произвести санитарный осмотр батальона. Дело заурядное, пустяковое, обычная ежемесячная формальность, — самому было некогда: родила жена. Знаете, что он написал в рапорте? Подсчитал солдатские чирьи, чесоточных, трахонных, итоги подвел; записал солдатские жалобы. Вшей описал, кубическое содержание воздуха, хлеб, горячую пищу, отхожие места — выходила уголовщина!.. Я растерялся, что делать?.. Командир — хороший человек, с родными покумился. Потребовал по делам службы. Поразила меня в Ефремово выправка: приехал в батальон, командира Николаем Ивановичем пазвал, протянул ему, как знакомому, руку...

— Я вам, младший врач, не Николай Иванович, в знакомстве не состою, протянутой руки не принимаю, — ответил тот. — За незнание службы отправляйтесь под арест!..

— Вашему рапорту не дам хода; будете жаловаться? — спрашиваю.

— Не буду жаловаться, — отвечает.

Отлегло, рапорт под сукно, командиру не докладывал...

Замечаю, начал Ефремов попивать, — придет в околоток, водкой пахнет, соблазн нижним чинам.

— От кого кабаком воняет?..

— Перед закуской выпиваю, господин старший врач! — с улыбкой ответил Ефремов.

— Как начальник, обязан заметить: пить с утра в порядочном обществе не принято!

Меня взбесила улыбка, явное неуважение.

— Снабдите предписанием, господин старший врач, что в когда дозволено; неопустительно исполню!

В тоне голоса сквозило пренебрежение.

— Как вы смаете обращаться с начальником пренебрежи-

тельно?.. Я не в чехарду с вами играю, исполняю служебные обязанности... Донесу командиру батальона, в округ донесу: служить с вами не могу-с!

Поблелел, дрожит; я позитился.

— Кричать вам на меня стыдно, господин старший врач. Честь имею кланяться!

Я с докладом к командиру батальона.

Под суд, без разговоров!.. нигилист, микроскопом фельдшеров развращает. Слышал, знаю! — поддержал меня командир. — Наклеить пластырь, поставить банки, прописать порошок, микстуру — его прямое дело; микроскоп — служебный беспорядок! Имеет ли он право приносить микроскоп в околоток? Помните, в «Положении» об околотке, «Приемном покое» и «табелях» микроскоп не положен, своевольность на службе не позволена. Положено в строю ружье системы Бердана, за употребление другого оружия — под суд! В околотке микроскоп по «табелям» не положен, следовательно, признается ненужным, бесполезным. Подайте рапорт, поддержу заключением: надоед он со своими глупостями!.. Между нами, Мардарий Петрович, что за штука микроскоп? Слышать — слышал, видеть не приходилось...

— Микроскоп, господин полковник, это круглая, медная полированная трубка, вставленная в другую трубку, вторая в третью. Каждая трубка поднимается, опускается, выдвигается. В середине трубки увеличительные стекла; очень-очень увеличивает предмет: раз в триста, пятьсот, тысячу. Один глаз закрывают, другим в верхнее отверстие смотрят; в капельке воды, господин полковник, тысячи букашечек двигаются, обгоняют друг друга. С одной стороны, господин полковник, очень-очень любопытно! В наше время микроскопов не знали, обучались простыми методами, падевались на солдатскую натуру.

— Тэ-эк-с!.. Если меня положить под микроскоп, я представляюсь в триста, пятьсот, тысячу раз толще, какая от этого польза? Блоху, клопа солдат видит без микроскопа. Зашел я в учебную команду на урок — «Сбережение здоровья солдата». Прислушиваюсь. По словам Ефремова, человеческие почки высеживают из крови вредное начало, без них якобы человек умирает. Рассказ о почках показался любопытным, раньше не слыхивал, не имел представления. По-моему, оберегать здоровье закаливанием, холодом, выносливостью в лишениях приучаем к военно-походным невзгодам, почки — дело второстепенное. Поручаю наблюдать, чтобы Ефремов в околоток микроскопа не приносил, фельдшерам, солдатам не показывал. Вы в квартире у него бывали?..

— Два раза, господин полковник!..

— Что же нашли?

— Ничего особенного; небольшая комната; стол, кровать, книги, микроскоп на окне... Вошел я, он застыдился, сидел в одной рубашке, накинул тужурку...

— Чему обязан посещением, Мардарий Петрович?

Зашел коллегу навестить, на житье взглянуть: гора не идет к Магомету, Магомет пришел к горе...

— Очень рад! Чего желаете?

— Благодарю, пришел по-товарищески...

— Кстати пришли, Мардарий Петрович, ваш совет необходим; у рядового Ползакова сахар в моче, процент постоянный, угрожающий, подлежит увольнению в неспособные...

— В неспособные?!

— Как страдающий неизлечимой болезнью, препятствующей исполнению обязанностей...

— Кто же вам, коллега, поверит, что у рядового Ползакова сахарное мочеизнурение? Необходимы установленные законом исследования госпиталя, лазарета. — Он заволновался.

— Я не утверждаю, Мардарий Петрович, что мои исследования безошибочны, полагаю, думаю, госпиталь с ними согласится...

— Как старший врач, я не могу признать его негодным к службе: упитан, аппетит имеет. Кто из солдат не жалуется на слабость? Отдохнет в околотке, будет отличный служака. За него командир роты глаза выпарапает: хозяйство на нем держится...

— Случай сахарного мочеизнурения резкий, несомненный...

— По-вашему — негоден к службе, по-моему — годен!

Покраснел, плечами пожал, взглянул исподлобья.

— Рапорт о Ползакове подам, выясню причины неспособности...

— Закон, коллега, предусмотрел увлечение младших по службе: право каждого из нас ограничено большим правом старшего, — на то и военная служба!

Рапорт он подал. Ползаков сейчас находится в роте. Последний раз заходил к Ефремову по особому случаю: дней пять подряд не являлся он на службу. Захожу: лежит на кровати, лицом к стене.

— Здравствуйте, коллега! пришел справиться о здоровье. — Повернулся: лицо исхудалое, бледное, глаза ввалились...

— Крупозкой заболел, обессилел...

— Вам следовало рапорт подать о болезни, донести мне, как непосредственному начальнику...

— Пришло с того света в собственные руки!.. — повернулся к стене, больше не разговаривал.

Я посидел, подождал, вышел из комнаты...

ВИЗИТАЦИЯ

Пробираясь сквозь толпившихся в околотке солдат, младший врач надворный советник Сикоров думал: «Каждый день одно и то же, — не глядел бы! Сегодня именинница Анна Петровна приглашала на пирог — не забыть коробку шоколада; к двенадцати

постараюсь отделаться»... Спросив фельдшера, нет ли чего нового, через перевязочную прошел в полковую аптеку.

Среднего роста, с крутым высоким лбом, серыми глазами, в очках, лет тридцати пяти, с продолговатым лицом, окаймленным русой бородкой, с выстриженной «бобрком» головой, в темном сером пальто с барашковым воротником, он казался усталым. Оглядывая через очки толпившихся солдат, равнодушно скользнув глазами с одной головы на другую: мелькала однообразная серая человеческая масса, десять лет изо дня в день проходившая перед глазами в неизменных формах. Состоя младшим врачом, был «на счету» как «исполнительный», аттестовался «выдающимся», к повышению на должность старшего врача полка, батальона, лазарета достойным». Затянутый в форменную одежду, с пашкой через плечо, Сикоров давно потерял молодой задор «для нользы-счастья человеческого не жалеть живота своего».

— Сколько перевязочных? — выйдя из аптеки одетым в санитарный халат, спросил он фельдшера Зарубина.

— Девятнадцать, г-н доктор! Один с жалобой на побои, тринадцатой роты.

— Где ушибся? — осматривая затекший глаз и окровавленное ухо, спросил Сикоров.

— Ротный, вашескородие, и фельдфебель сапогом под скулу! — выкрикнул солдат.

— Чего кричишь? Глухих нет! Не врешь на ротного?.. Как фамилия?..

— Сидоров, вашескородие, тринадцатой роты, — понижая голос, ответил солдат.

— Рассказывай, Сидоров, правду.

— Ротный, вашескородие, истинный бог!.. Да и фельдфебеля сапогом!.. Рота видела.

Исследуя ушибы, Сикоров думал: «Солдат старослужащий — пожалуй, выйдет неприятность».

— Обожди старшего врача, — сказал он громко.

— Защитите, вашескородие, — скороговоркой, дрогнувшим голосом заговорил Сидоров, — немоготу, в петлю полезай.

— Не волнуйся, Сидоров! Без старшего врача сделать ничего не могу; садись на кровать, дожидайся. Показывай, Зарубин, хирургических, — закуривая папиросу и усаживаясь на табурет, обратился он к фельдшеру.

Перед ним проходили солдаты, показывая оголенные язвенные ноги, нарывы, порезы, царапины. Сикоров ловко и скоро вырывал болевшие зубы, вскрывал нарывы; при криках пациента от боли шутливо говорил: «Эх ты, Марья Ивановна! Солдатом царской службы считаешься, а хвывчешь от пустяковины». Осматривая, вырешал: «Показать завтра», «Оставить в околотке», «В лазарет», «Здоров», «Положить повязку», «Прижечь ляписом», «Давящую повязку».

Трахоматозных осматривать не буду: пустить в глаза цинковые капли, отпирать в казарму! — выходя из перевязочной, отдал он приказание: — Иван Бунин, поворачивайся! Набралось вас сегодня, — сидя у стола в приемной, говорил Сикоров.

Приготовиться к осмотру, — вставая на ноги, сказал он громко. — Шинели, шаровары, рубашки, — не задерживайте. Ермаков, объясни, покажи; каждый день одно и то же, хуже баранов! — Чем болен? — спросил он подошедшего Бунина.

— Ломота, вашескорodie, кость грызет... на часах... у будки.
— Не ври, не ври! Говори правду!

Озадаченный солдат срывался с рассказа, растерянно, беспомощно мигал глазами.

— Смазать подом, отходи, — мельком взглянув на оголенную ногу, сказал Сикоров, отметив в журнале: «Подано пособие».

— Семен Цыганов! Иван Крикуш! Степан Яблонский! Григорий Передеркин!

Вызываемые подходили с расстегнутыми шинелями, спущенными шароварами; фельдшер Боркин с одной, Вахрушев с другой стороны помогали подходившим: поворачивали оголенную спину, нагибали головы осматриваемых. Сикоров выворачивал веки, надавливал шпатель на язык, заглядывал в рот, прикладывая ухо к солдатской груди, торопливо говорил:

— Вдохни сильнее! Еще раз! Еще раз! Повернись спиной! Пробеги до печки! Подними руки на голову! Покажи язык. Нагни голову! Поворачивайся!

Солдаты подходили, вытягивались, поворачивались, бегали, нагибались, высовывали языки; обычно издавек начинали рассказ о болезни:

— Ходили, вашескорodie, на прогулку, ротный с нами, фельдфебель... во рту ни маковой росинки. Шел я в третьей шеренге, мороз, вашескорodie.

Сикоров ставил диагнозы, отмечал в журнале назначения.

— Срул Зильберберг, давно появился, что скажешь новенького? Покажи пархатую голову. — Взглянув, досадливо сказал: — Снова здорово! Дожидайся старшего врача.

— Ты чем болен?

— Кровью харкаю, вашескорodie... в писарях... в штабе...

Минут десять Сикоров выслушивал, выстукивал...

— Давно на службе?

— Третий год, вашескорodie. В писарях... с утра до вечера...

— Фамилия Куляптов?

— Так точно, одышка, бессонница.

— Смирно-о-о! — раздалась громкая команда.

Солдаты вытянулись; фельдшера оправляли рубашки; сидевшие вскочили на ноги. Размашистой походкой к столу подошел заведующий околотком поручик Пулькин. Высокий, сухощавый, с закрученными в колечко усами, серыми глазами, на продолгова-

том бритом лице, он зорко следил глазами за стоявшими навыважку солдатами.

— Доктринусу Николаю Петровичу — наше глубочайшее! Как живется, можете, — здороваясь, усаживаясь, дружески, фамильярно говорил Пулькин.

— Мешать не буду, посижу для отвода глаз. Рвет и мечет сегодня командир, на глаза не попадайся; подполковника Жирнова, заведующего нестроевой ротой распечатал на все корки, досталось адъютанту. По околотку надо быть в курсе дела: вдруг любопытствует.

— Какая его муха укусила? — спросил Сикоров.

— Не муха-с, законнейшая супруга! — наклонившись, шепнул Пулькин Сикорову на ухо.

— Ха-ха-ха! — засмеялись они дружно.

— Не может быть! — воскликнул смеявшийся Сикоров.

— Все может быть, докториссime, все может быть! Случается, девка родит: невозможного по сим статьям не бывает на свете; командирша — человек горячий, в соку, с норовом.

— Ну тебя! Сиди смирно, не мешай, видишь, какая орава собралась в околотке.

— Известные лодыри, лентяи, сам даешь потачку; допусти меня, приведу к одному знаменателю.

— Сиди, не воинствуй!

— Слушаюсь! — привскакивая, выпячивая грудь, опуская по швам руки, паясничал Пулькин; усевшись, занялся пересмотром стоявших на столе банок.

— Последнее слово, докториссimus, ей-богу, последнее! Бабников-«стрелков» в лазарете много? Симпатичная болезнь, службу не спросишь, караула не забудешь.

— Василий Сидоров! Петр Темников! Иван Цыбуля! — вызывал Сикоров.

Вызываемые не подходили.

— Сидоров! Темников! Цыбуля! — вскакивая на ноги, громко крикнул Пулькин. — Подходи в одну минуту!

— Нет их, ваше благородие, на двор вышедши, — послышался ответ.

— Как нет! Почему нет?! Кто позволил выходить? Которой роты? Кто старший? — выкрикивал поручик.

— Брось, Михайло Васильевич, ну их... к чертям! Кровь не стоит портить, — успокаивал Сикоров. — Вернутся со двора — осмотрим, не вернутся — нам легче, потеря не большая.

— Как бросить! По-вашему бросить, по-нашему — под арест, на хлеб и воду; строгим арестом, месяц без отпуска — будет неповадно: имею полное право.

— Не горячись, присаживайся, сообщу новость.

— Ну, ну, какая новость? — садясь на табурет, торопливо спрашивал Пулькин.

— На Чумазова жалоба: солдата побил.

— Неужели-и? Когда? Как? Вот тебе Чумазко! Третьего дня в карты играли, водку пили: проигрался он в пух и прах; супруга прибежала выручать. Командир полка знает?

Лицо поручика горело, глаза блестели, не сиделось на месте.

— Зайди в перевязочную, полюбопытствуй, — советовал Сикоров, — от самого избитого узнаешь подробности — не скрывает Пулюкин вышел.

— Ты чем болен? — обратился Сикоров к вошедшему солдату.

— Здоров я, вашескородие! От ее благородия капитанши Чулковой прислан к вашескородию! Записка, вашескородие! Бутылка... приказали доложить вашескородию! — не мигая, без передышки отскапывал подошедший солдат.

— Подавай записку.

«Господин доктор, милостивый государь! Посылаю бутылку, пришлите спринцевательной сулемы, запас вышел, просьба и Деметрия Петровича. Покорнейшая слуга А. Чулкова».

— Обожди, приготовят лекарство.

— Слушаю, вашескородие!

В течение пребывания в околотке Сикоров получил не менее полдюжины записок с просьбами, не говоря о словесных приказа-ниях, передаваемых денщиками.

«Милый доктор! Колечка спал хорошо, съел два яйца всмятку с двумя сухариками, вымоченными в молоке. Грудочку натерла скипидаром, зайдите взглянуть на Колечку, в ожидании, известная вам подполковница А. Пестерева. Не забывайте, заходите».

«Господин младший врач, прошу обязательно заехать. Валя, Коля, Настя, Петя, Галя кашляют со вчерашнего мороженого, виновата сама, погорячилась. Демка ушиб палец, прилаживает тертую морковь, может вывихнул, может переломил. С мужем идем в театр, успокойте нас с Всеволодом. Обязательно заходите. Подполковница Серебрушкова; весьма нужное».

«Господин доктор, пришлите касторового масла на все приемы, у детей запор, М. Ч. Укропица. Муж просит от себя».

«Любезный доктор! Иван Петрович после вчерашнего собрания лежит с недомоганием желудка, с очень большим расстройством. Не откажите зайти взглянуть страждующего. Уважающая капитанша Сморгчова».

Пробегая записку, Сикоров невольно вспомнил вчерашний визит в квартиру подполковника Куркина по просьбе его встревоженной супруги.

— Не умрет Валечка, доктор? Не умрет? Боже мой! Боже мой! Доктор! Миленький! Хорошенький! Голубчик! Как он напугал нас с Сергеем... Девять их у меня; смерть одного убьет отца с матерью, — волновалась Мария Андреевна.

— Пустяки, Мария Андреевна, обьелся малец: десертная ложка касторового масла, как рукой снимет.

— Матери не до шуток, Николай Петрович! Олечке снова

плохо, кашляет, у Пети глазок покраснел, у Феди с Васей — хрипота в грудке.

— Ей-богу, не шучу, Мария Андреевна: ваши детки здоровы: материнская мнительность.

— Матери лучше знать про здоровье детей: буду жаловаться командиру полка, обществу господ офицеров...

— Быть бычку на веревочке, — выходя из перевязочной, говорил Пулюкин. — Какая жалость! Надо выругать Чумазку: из-за доктора, не особенно налегайте, с офицерами не ссорьтесь, мало ли чего случается на службе! Иного мерзавца, кроме оплеушивания ничем не проберешь, ангела из терпения выведет. До свидания, докторинус! Повидаю Чумазку, следует ободрить человека; забегу в штаб, позондирую почву. Не забежать ли к командирше? Ха-ха-ха! — смеялся он, выходя из околотка.

— Будем заканчивать осмотр, — обратился к фельдшерам Сикоров, — осталось не больше десятка.

СТАРШИЙ ВРАЧ

Старший полковой врач, коллежский советник Иван Павлович Баулов, лет пятидесяти восьми, среднего роста, с лысой головой, округлым брюшком, мясистым заплывшим лицом, серыми глазами, бритой бородой, подстриженными ежом усами, семенящей торопливой походкой, в 11 часов утра внезапно появился на полковом дворе. В течение четырнадцати зимних сезонов пребывания старшим врачом полка Иван Павлович, входя на полковой двор, неукоснительно заглядывал за угол околоточного здания, где всегда находил на снегу «непорядок», приводивший его в возбужденное состояние.

— Это что за безобразие? что это за безобразие? Кто позволил? Я вас, болванов, спрашиваю! Кто позволил? — перебегая от места «непорядка» к стоявшим поблизости солдатам, выкрикивал визгливо Баулов.

— В пяти шагах от командирской канцелярии двор испортили. Заглянет вдруг командир полка, кто виноват? Безобразие! Дивизионный врач может заглянуть, начальник дивизии. Кто нагрязнил? — грозно напирал он на стоящего впереди солдат бритого унтер-офицера.

— Не могу знать, вашескородие! До нас произошло, дождемся очереди, нарушений не произведем, — защищал вверенную команду бравый унтер-офицер.

— Забросать снегом, сейчас забросать, — пригребая ногами снег к желтым узорам, горячился Баулов, — командиру полка донесу.

Переглядываясь друг с другом, солдаты стояли неподвижно.

— Якимец! Якимец! Якимец! — визгливо кричал Баулов.

Из сени выскочил сухощавый чернявый солдат, небольшого роста, цыганского типа, с белыми оскаленными зубами, одетый в заплатавшую форменную рубашу без пояса, без фуражки, с медной в руках.

— Чего ты смотришь? Чего ты смотришь? — размахивая руками, кричал Баулов. — Твое дело наблюдать чистоту. Почему ты без пояса? Почему без шапки? Где твоя фуражка? Иди, дубина, оденься по форме, командир полка может встретиться, зайдет вдруг начальник дивизии. Забросай снегом, через десять минут выйду, проверю.

Баулов уходил в околоток.

— Передадут хвороба пакостников, истинный бог, передадут! — заметая «непорядки», брюзжал Якимец. — Народ хуже конницы: артиллерия куда вольготнее: там по-крайности лошади, тварь бессловесная.

— Многопьючко набралось в околотке, многопьючко, Николай Петрович, половина, наверное, лодырей, — здороваясь с младшим врачом Сикоровым, говорил Баулов, — пожалуй, не меньше восьмидесяти набралось.

— С трахоматозными восемьдесят четыре человека, ваше высокоблагородие! — доложил фельдшер Ермаков.

— Тебя не спрашивают! Отвечай, когда спросит начальник: в следующий раз неделя ареста, — отрывисто сказал Баулов.

— Виноват, ваше высокоблагородие! — густо краснея, ответил Ермаков.

— Командиры рот жалуются, Николай Петрович, командир полка обратил внимание, — продолжал Баулов. «Замечают, говорит, ежедневно десятками». Следует подтянуть шляющихся, отмечать в ротных книжках, налагать взыскания; начальство требует, следует исполнять: восемьдесят человек ежедневно — цифра большая.

— Как же быть, Иван Павлович, трахоматозных тридцать девять, остальных по три человека на роту не приходится.

— Знаю, знаю, — торопливо перебил Баулов, — все знаю! Командир полка требует. Оканчивайте прием, поговорим.

— У нас неприятность, Иван Павлович, — заговорил Сикоров. — Рядовой Сидоров заявил о побоях.

— Что такое! Не может быть. Наверное, ябеда. Которой роты?

— Тринадцатой.

— Капитан Чумазов — хороший командир, строевик, служил, о пинках чинах заботится. Наверное, ябеда!

— Неприятная история. Пойдемте осмотримте?

В форменном сюртуке, с шашкой на белой португее через плечо, сдвинутыми на лоб очками, хмурым, озабоченным лицом, поворачивал Баулов в разные стороны жалобщика. Раз десять заглядывал в ушное зеркало, в широко раскрываемый рот пациента, пробовал пальцами крепость зубов, прищуривая левый глаз, напряженно рассматривал внутреннее ухо, проводил пальцами по

опухшим глазам, поднимал опухшее веко, осматривал поверхность живота, груди, спины, предлагал много раз проделать то же Сикорову.

— Неприятная история! Очень, очень неприятная. Я вас прошу, Николай Петрович, — обратился он к Сикорову, — заканчивать прием, люди ждут на улице, на морозе, может заместить командир полка. Я Сидорова расспрошу о подробностях, потом посоветуюсь.

Сикоров вышел.

— Говори, Сидоров, правду: не был ты пьян? — подозрительно оглядывая Сидорова, спрашивал Баулов. — Капитан Чумазов хороший человек, о вас, солдатах, заботится.

— Пьян не был, ваше высокоблагородие, — нервно, торопливо говорил Сидоров. — избил командир роты, рота свидетель, ваше высокоблагородие! Производилась стрельба дробинкой, я не потрафил. «Пьян... пьян...». — «Никак нет, ваше высокоблагородие!» — «Стреляй вторично!» Стрельнул — опять неудача, не угадал и в щиток. Ротный меня по лицу ударил, с ног свалился, фельдфебель сапогом в зубы... Прошусь в околоток.

— До утра не умрешь, выслушай, что буду говорить. Из избы сору не выноси, Сидоров; упасть с лестницы всякому не воспрещается — ушибиться долго ли? Оскользнулся, упал с лестницы — кому какое дело? Мне служить, тебе служить два года, с лестницы упасть, торчмя головой, всякому возможно.

Выкуривая папиросу за папиросой, нервно протирая очки, Баулов думал: «Скверная штука! Сидорова оставим в околотке, лазарет донесет в округ».

— Оставайся, Сидоров, в околотке, доложу командиру полка, понял?

Прочитывая в аптеке полученные с почты бумаги, Баулов вдруг вскочил на ноги, торопливо заглянул в конверты с надписью: «От окружного военно-медицинского управления», «От корпусного врача N корпуса».

Перечитывая предписания, волновался. За небрежное составление отчетности за декабрь — не было приложено медицинского тиста — старшему врачу пехотного полка на первый раз делается замечание с предупреждением, что на будущее время...

— Шустиков! Шустиков! Шустиков! — стуча кулаком в стену, вскрикивал Баулов, лицо багровело, губы отвисли, руки дрожали.

Явился фельдшер Шустиков.

— Прочитай! Прочитай! Прочитай!.. — размахивая перед носом Шустикова бумагой, кричал Баулов. — Что ты на это скажешь? А? Тебя, дубину, спрашиваю? Скотина! Мерзавец! Свины! Неблагодарное животное! Попал еще в медицинские фельдшера. Читай! Читай! Читай! Я тебе припомню, припомню.

— Виноват, ваше высокоблагородие, не вложил по забывчивости! пробежав глазами бумагу, оправдывался Шустиков.

— Что мне от твоей забывчивости?! Подвел, скотина! Чего

глаза вытаращил, стоишь, как корова? Отвечай! Не хочешь быть аккуратным, убирайся к чёрту, таких дураков найдется. Как ты жрать не забываешь! Сейчас принеси медицинский лист! Отчего не доложил, что проворонил, не приложил листа к месячному отчету? Послали бы дополнительно, неприятностей не было. Принеси лист, при мне запечатаешь; сегодня же отправим в округ.

Огорчило Баулова и предписание корпусного врача:

«Предписываю старшему врачу, коллежскому советнику Баулову, проставив собственноручно число отправления рапорта № 129-й, возратить таковой обратно. Предлагаю на будущее время относиться более внимательно к официальной переписке направляемой в высшие инстанции, ибо невнимательное отношение к мелочам указывает на характер деятельности вообще».

Баулов искренне сокрушался о своем промахе — не проставлено число на рапорте корпусному врачу, — не один раз брал в руки возвращенный рапорт с синим, жирным знаком вопроса, поставленным на месте должностящего стоять числа, с четырьмя толстыми синими подчеркиваниями и страдал, чувствуя сердечные перебои: «Не рогозействуй, поставь я число на надлежащее место, не было бы замечаний от его превосходительства».

— На следующий раз не смей без меня запечатывать конверт, — внушал Баулов фельдшеру Шустикову, — в окружное управление, корпусному или дивизионному врачу буду запечатывать собственноручно, буду проверять вложенные бумаги, приложения к отчетности. Понял, что я говорю?

— Понял, ваше высокоблагородие!

— Понял! Понял! Не тем концом понимаешь! Наделал неприятностей — говорит понял! Я тебе, Шустиков, этого не забуду, или в приемную, попроси младшего врача после приема зайти ко мне в аптеку. Понял?

— Так точно, ваше высокоблагородие.

Минут через 15 вошел Сикоров.

— Окончили прием, Николай Петрович?

— Окончил. Помою руки — к вашим услугам.

— Садитесь, коллега! Необходимо поговорить, для общей пользы. — глядя через очки мимо головы Сикорова, заговорил Баулов.

— Все неприятности по службе. Все неприятности. Из округа на вид поставили — подвел скотина Шустиков! Корпусной врач к пустякам привязался, не угодно ли полюбопытствовать? — Он передал бумаги. — Тяжело служить в шкуре старшего врача! Знаю, за четверых вы работаете, трех младших врачей в полку не хватает, а почему? Не ваше дело рассуждать! Вы, коллега, не ответственные; старший врач — в первую голову. Осел фельдшер не вложил медицинский лист — нахлобучка. Раз за 30 лет службы промах сделал — не проставил числа на бумаге — вторая нахлобучка. Обидно-с! Тридцать лет прослужил верой, правдой. До слез обидно-с!

— Бросьте, Иван Павлович! Делать нечего корпусному врачу: живой работы не видит, груды бумаг перед глазами; проверяет, заведует всем кандидат Чурочкин — что делать его превосходительству? Запятые, точки с запятой проверять, нумера, числа подчеркивать синим карандашом, делать выговоры, замечания. В душе он вас благодарит сердечно: дали возможность лишний раз показать полезную деятельность, распорядительность.

— Что вы, что вы, Николай Петрович! Оставим этот разговор. Я просил вас зайти по очень важному делу, по служебному обстоятельству. Говорю с вами по доверию, конфиденциально. Вчера требовал меня командир полка, высказал неудовольствие: «Каждый день вижу, десятки солдат шляются в околоток, — ущерб строевому учению. Обуздать необходимо, требую к лодырям строгого отношения». Очень, очень неприятно, коллега. Я вам помогу принять меры. Предупреждал поручик Пулькин: рвет и мечет командир; немудрено, зайдет в околоток... — Поговорим о деле, коллега.

— Слушаю. Иван Павлович, докладываю: из 84-х солдат, бывших сегодня на приеме, 38 трахоматозных, хронических, таких в полк присланных после приема в воинских присутствиях; ежедневных остается 45 человек на полк, меньше 3-х человек на роту. По совести: разве много, Иван Павлович?

— Не наше дело рассуждать, Николай Петрович, не наше дело указывать командиру полка: приказывает, приходится исполнять, неприятностей кому хочется? Оставим этот разговор!

— Что прикажете сделать с избитым Сидоровым, Иван Павлович?

— Нет! Нет! Что вы?! Пусть побудет в околотке, доложу командиру полка.

— Куда прикажете, Иван Павлович, вернувшегося из госпиталя Зильберберга? Парша на голове без изменения, госпиталь признал здоровым, к службе годным.

— Госпиталь признал здоровым, к службе годным, нам какое дело? Пусть служит! Отправить в роту с пометкой госпиталя: решающая инстанция компетентная, не в пререкания же вступать из-за жиды.

— Писаря штаба Кулятьнова полагал бы представить в неспособные, несомненный туберкулез.

— Со штабом ссориться не хочется, адъютанту нужен Кулятьнов, лучший в штабе писарь; просил задержать для годовой отчетности, отказать неловко. Оставим в околотке, отдохнет, выслится, там увидим.

— Смирно-о-о! — донесся испуганно-отчаянный окрик.

— Здорово, ребята! — раскатисто, властно прокатилось приветствие.

— Здравия желаем, вашескорodie! — слышался ответ десятков голосов.

— Не торопись! Не торопись! Отвечай по форме: руби дру-

жно, в такт, с расстановкой, голову поворачивай, по-солдатски гляди в глаза начальнику... Старший! Доложи командиру роты. — Удержаться не умеют.

— Саунаю, вашескорродие!

Командир полка, — испуганно прошептал Баулов, — идем скорее.

Манигиально ощупывая шашку, португую, проводя ладонью по борту свертка, лысой голове, по усам, он торопливо шагнул в приемную; за ним шел Сикоров.

Грязь в околотке, скверный запах, скопище лодырей. — повертываясь в сторону подхаживших Баулова и Сикорова, громко говорил командир.

Массивный, высокого роста, грудь колесом, с одутловатым темным лицом, окаймленным седой бородой, густыми нависшими усами, с круглой бугристой остриженной головой, торчащими усами, в драповом сером пальто, он властно повертывался в разные стороны.

Подходя к кровати, сдергивая одеяло, поднимал матрац с диваном, перебрасывая подушки.

— Грязь, пыль под тюфяками, грязь в околотке, отвратительный запах. Безобразие!

Командир был возбужден: лицо багровое, глаза блестят, плечи нервно передергиваются.

— Как твои фамилия? — крикнул он, подходя к солдату.

— Си-иво-о-о-роты, вашескорродие! — выпучивая глаза, вытягиваясь, выкрикнул солдат.

— Не кричи, болван! Чем ты болен?

— Не могу знать, вашескорродие!

— Как не знаешь, чем болен? Чем он болен, старший врач?

— Трахомой глаз, господин полковник, — отвечал Сикоров.

— Я спрашиваю старшего врача, к вам с вопросом — не обращайтесь, — резко перебил командир. — Незнание службы, беспорядок!

Он быстро направился в смежную комнату. Останавливаясь у кроватей, поднимая матрацы, проводя пальцами по оголенным доскам, выкрикивал:

— Пыль!.. Пыль!.. Беспорядок!.. Распущенность!

Остановившись, быстро спросил:

— Сколько больных на сегодняшний день?.. Пятьдесят восемь! Пятьдесят восемь! Во всем беспорядок! Это что такое! Это что такое! Подходи! Эй, ты, пучеглазый! чёртова кукла! Фельдшерская морда, подходи! — гремел командирский голос.

Его глаза остановились на фигуре фельдшера Шустикова. Шустиков подскочил вплотную.

— Это что такое? — растирая ладонью стриженую фельдшерскую голову, захватывая между пальцами волосы, кричал командир, — волосы отрёстил, в дьяконы записался? На восемь суток строгим арестом, на хлеб, на воду. Распустились, канальи! Стар-

ший врач, обратите внимание на подчиненных, наблюдение за фельдшерами входит в круг ваших обязанностей. Выстричь его, каналью, под бритву! Я вам покажу дьяконовские волосы! Фронта сделать не умеют, руку не умеют к козырьку приложить для отдания чести, ходят, как коровы на корде. Приказываю: обратить особое внимание на фельдшеров, не допускать ни малейших отступлений от требований гарнизонного устава, наблюдать чистоту, опрятность в околотке, прекратить бездельное шатанье нижних чинов из рот в околоток. Беспорядка не потерплю. В последний раз предупреждаю.

Трудно больные, лежащие на кроватях, замерли: солдаты, фельдшера, врачи, вытянувшись в струнку, как статуи, руки по швам, бессмысленно во все глаза смотрели на командира. Жалко согнувшись, с перевязанной головой, с вытянутыми по швам руками, трясущимися ногами стоял избитый Сидоров. Круто повернувшись на каблучках, командир вышел. С минуту все стояли столбами, не изменяя позы, выдерживая дыхание, избегая смотреть друг на друга: первыми зашевелились, закашлялись солдаты.

— Выстроиться фельдшерам в перевязочной! — срывающимся, дрожащим голосом приказывал Баулов: он был бледен, губы посинели, руки вздрагивали; избегая встречи глазами, Сикоров стоял в нерешимости. — Вас, коллега, прошу зайти в аптеку.

Оправляя форменные рубашки, торопливо проводя ладонями по волосам, фельдшера выстраивались шеренгой с Шустиковым на правом фланге.

— Пролетели громы, молнии; месяца три командир не заглядывал в околоток, — входя в аптеку, шутливо сказал Сикоров.

— Мне от этого не легче, — недружелюбно заговорил Баулов, — доверяться некому, обязательно подведут. Предлагаю оставить Сидорова в околотке. Приказ командира полка о лодырях исполнять, с мерзавцами церемониться нечего; фельдшеров взять в руки, потачек не давать, с ними не миндальничать. Требую содействия согласно положению о старших и младших врачах; если закончили прием, на сегодня свободны.

— Первого, кто из вас попадет в отступление от служебных требований — под суд! — стоя перед шеренгой фельдшеров, громко говорил Баулов. — Тебя, Шустиков, не забуду, отплачу равной монетой, заруби себе на носу. Выстричь его, каналью, под бритву! — злобно крикнул Баулов. — Немедленно отправить под арест. Всякого встречного из рот в околоток не посылать: кумовство, родство, попустительство не может быть терпимо; приказ командира полка исполнять свято, нерушимо. Поняли?

— Поняли, ваше высокоблагородие!

Околоток опустел, ушли врачи, разошлись по ротам фельдшера; принятые больные лежат по кроватям. С засученными по колени штанами, по локти — рукавами рубашки, вооруженный мочальной шваброй, ведром горячей воды и древесными опилками

ми, служитель Якимец приводил в порядок затоптанный, заляпанный пол околотка. Под впечатлением командирского посещения он усердствовал: не жалел воды, древесных опилок, налегал на швабру всем корпусом; становясь на колени, царапал ногтями черноватые пятна, резко выступавшие на покрашенном полу.

— Не отскребается, бисова кляча! Не иначе варом промазана подошва, ничего не поделаешь! — царапая ногтями по полу, говорил Якимец.

— Ты ножом попробуй, отскребается, следа не остается, — посоветовал один из больных.

— Ножом! Ножом! Без тебя не знают, чем пол скребется, — обиженно говорил Якимец. — Ложки деревянной не имею, обедать нечем, а ты — ножом. Кто мне нож приготовил? По шее дадут, в карцер посадят, на хлеб, на воду, на счет ножа — погодишь. Старший доктор — пятака за работу не жертвует, а ты ножом! — Остервенело растирая шваброй воду по полу, с сердцем закончил Якимец.

— Тебе хорошо разговаривать, — приостанавливая работу, продолжал он. — Залег на кровать — лежи поживай, с боку на бок переворачивайся: дня три пролежишь — отлежишься. Меня не берет лихорадка, не трясет анафемская душа, температура на подъем не идет: не могу заболеть, не попаду на отдых в околоток; не служба — измор! Упакосят жеребцы кругом околотка — Якимец виноват; полы затоптаны — Якимец виноват; старший доктор ругается, поручик Пулюкин распоряжается, капитан нестроевой роты — по шее!

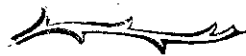
— Ругаются не своей охотой: слышал, что командир приказывал?

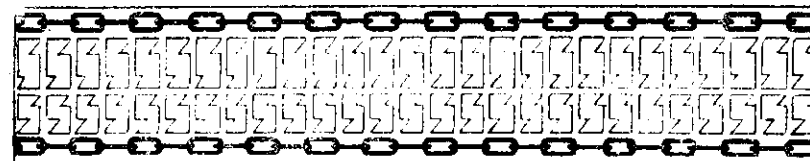
— Командиру чего делать? Полы мыть не приходится. Соловья, однако, баснями не кормят. Маковой росинки с утра в роту не было, — забирая ведро, швабру, говорил Якимец. — Схожу в роту, посм, чего кашевар оставил. Вы с кровати не вставайте, полы не пачкайте, дайте просохнуть. Теперь не лето, сырость долго держится.

Вернувшись в лазарет, Якимец заметил истоптанный пол. Укладываясь вздремнуть, он сонно подумал:

— Нешто человек?! Тварь бессловесная.

В годы реакции





Г И Д Р А

(Памяти Л. Н. Толстого)

Заседание суда было непродолжительно; председатель — генерал-майор, — судьи, прокурор терпеливо выслушали несвязный рассказ подсудимого, крестьянина Коровинской волости, селения Загубино, Семёна Петрова Кремнева.

Поместительное зало гражданского суда, уступленное для заседания военного, через шесть растворенных окон ярко освещалось августовскими солнечными лучами.

На скамье подсудимых, между двух солдат с ружьями, — закованный по ногам стоял крестьянин Кремнев. Сутулый, среднего роста, со включенной головой, квадратным лбом, седой бородой, землистым корявым лицом, сплюснутым носом, серыми глазами, одетый в заплатанный вытертый кафтан, он стоял согнувшись, не отводя глаз от секретаря суда, читавшего обвинительный акт.

Начался допрос.

— Подсудимый Кремнев! Признаешь ли ты себя виновным в вооруженном сопротивлении воинской команде, убийстве двух казаков Ивана Пищука и Савелия Жабина? — спросил председатель.

— Я-то, ваше благородие? — переступая с ноги на ногу, тягуче переспросил подсудимый.

— Да, да, да, тебя спрашиваю... расскажи суду по совести: сопротивлялся ты воинской команде, убивал казаков? Расскажи без утайки, суд примет во внимание.

— Насчет казаков, ваше благородие, что мир православный плетями хлестали, сясками рубили, — торопливо заговорил Кремнев, — отчего не рассказать! На виду случилось, середь белого дня, мир православный видел. Попутал грех, ударил каза-

ков колышком... сына моего до смерти раздавили. Малый ребенок был, пяти годочков, один в заводе, берегли с женой плути глаза... раздавил казак сыночка, кишки выпустил... Ударил меня по голове плетью, упал я на землю, через мало времени очнулся... Федюнька мой за конской ногой на кишках волочится... реве-е-т! Под руку кол попался, я ударил казаков. Сколько раз ударил — не упомню: перепуг был большой, плетями хлестали, сяшками рубили... Оборвались кишки, сыночек умер... Не отставал от отца, покойный: «Тятка, возьми! Тятка, возьми!» Берешь мальчика, ваше благородие, чего с ним поделаешь?! Жена жалобилась: «Сына от родной матери отворожит». Женское дело, ваше благородие, материнское. По крестьянству отцы сынов за собой оставляют. Наша жизнь известная: живем — не люди, умрем — не упокойники!.. Мать любила сына по-своему, увидела раздавленным — ума рехнулась, голосит: «Душегубы! Каины! Анафемы прокляты! Чтобы вам ни дна, ни покрыва на том, на этом свете, детям вашим, женам вашим, всему каинному отродью». На руки сына схватила, — казаки плетями по голове — очумела баба! выкрикивает, сыночка из рук не выпускает. Побежал народ кто куда мог: казаки копытами давили, сяшками рубили, плетями по голове, не разбирали ни старого, ни малого.

— Ходили мы, ваше благородие, миром нашим к соседу, барину Михайле Евграфовичу, — обтирая струившийся по лицу пот, на заданный прокурором вопрос, монотонно рассказывал подсудимый, — леском попользоваться. В нашей деревне тычинки на горях негде вырубить, кроме барского леса, шаром покати, не зацелишь. Пошли мы, ваше благородие, бабы, ребята увязались, шли без ругани, без свары, разговаривали: барину Михайле Евграфовичу лесу оставим, возьмем сколько требуется для хозяйства; распланируем по совести. Без земли, без лесу нам погибеть, решили сходить, может, бог помилует. Подошли к лесу, наскочили казаки с плетями, сяшками, все разбежались, ваше благородие, больше ничего не случилось, рассказал по порядку.

— Подсудимый Кремнев! Кому принадлежал лес, который ты в обществе крестьян собирався долить, вашей деревне или барину Михайле Евграфовичу? — спросил прокурор.

— Божий лес, ваше благородие, божий! Господь-Христос урожай лесам посылает. От господа леса, ваше благородие, ни единый землям, лесам хозяин.

В обвинительной речи прокурор, указывая суду на дерзость вооруженного сопротивления, на смерть от преступной руки двух защитников отечества, настаивал на высшей мере наказания.

— Гл. судьи! Вашего приговора ждет пострадавшая мать-родина, великая земля русская! От вашего строгого, справедливого приговора зависит умиротворение взбаламутившейся русской жизни, мирно развивавшейся под любвеобильными вековыми устоями! Перед вами бунтовщик, один из тысяч преступно уклонившихся от закона. Раздавите гидру беззакония, вспомните

убитых воннов, верных слуг священной присяги, павших от рук бунтовщика, пресеките в корне гидру крамолы, тысячеголовое чудовище, появившееся на русской земле. Смертная казнь восстановит равновесие: с верой, надеждой ждет России вашего приговора! — закончил прокурор.

Защитник, молчаливый поручик, замирая от волнения, указывал суду на невежество безграмотного подсудимого, его довольно преклонные годы.

Признавая факт убийства казаков неоспоримым, долгом совести считаю обратить внимание суда, что убийство произведено в зависимости от смерти сына-ребенка, на глазах отца раздавленного лошадью, — просил он суд о смягчении наказания.

— Куда мир, общество шло, я не отставал: нам, крестьянам, по-другому жить нельзя. Ударил колышком казаков, грешен, ваше благородие!.. на кишках сынок волочился... кричал, ваше благородие... Признаюсь, как перед господом!.. Кровинки не было, ваше благородие, заеклась кровинца... запеклась... запеклась... понижая до шепота дрожащий голос, в последнем слове сказал подсудимый!..

Суд вернулся; громким властным голосом председатель объявил: «Крестьянин Семен Петров Кремнев, пятидесяти двух лет от роду, приговаривается к смертной казни, через повешение»...

Кремнев вздрогнул, победнел, втянув в плечи голову, съехался, согнулся... быстро, как пружина, выпрямился. Судорожно оскалывая зубы, тупым взглядом окидывал судей, зрителей, портрет государя, образ спасителя, бессмысленно улыбался...

* * *

Приговоренный стоял среди одиночной камеры: непроизвольно сгибались, разгибались пальцы висевших рук, дрожали колени. Преодоливая зевота раскрывала рот, с шумом втягивался воздух, поднималась рука к зевавшему рту, глаза слипались: терялось сознание места, времени, клонило ко сну.

Зияянув капталом, грузно оступился на нарку, через минуту лежал на спине, упираясь головой в стенку, с прижатым к груди подбородком...

Надзиратель Ключкин через окошечко заглядывал в секретку; пробегаая взглядом по стенам, окошку с решеткой, скользя по неподвижно лежащему, быстро захлепывал дверку. Отходя, суеверно раздумывал: «Удавленник, ночью приенится... Зубы оскалит... Да воскреснет бог и расточится...» машинально крестился.

Брезжило утро, Ключкина сменил Рябов.

— Лежит, как мертвый, — жив ли? — надзиратели вошли в камеру, наклоняя головы, прислушиваясь к дыханию... — Хрипит... Отяжелел... — полупшепотом говорил Рябов.

Было жутко обоим, поскорее разошлись... Непуганно раскрыв

глаза, приговоренный вскочил на ноги, качнувшись, быстро опустился на парку.

Бросая рассеянный свет, подвешенная лампа слабо освещала камеру. Широко раскрытые глаза напряженно уставились в пространство.

...Яркое, голубое, прозрачное небо веселого летнего утра заливало солнечным блеском серые домишки села с белой оштукатуренной церковью, с блестящими на солнце крестами. Голуби летали кругом освещенной колокольни, торопливо обгоняя друг друга, мелькая в солнечных лучах темными звеньями причудливой цепи. Звонко, торжественно неслись колокольные звуки в прозрачном летнем воздухе. Над тысячной толпой, двинувшейся на «освещение воды», высились кресты, хоругви, неумолкаемый звон колоколов ускорял движение, возбуждал... Оп, Семен Кремнев, радостно, бодро идет за толпой. Блестящая зеркальная поверхность громадного озера, тихая, гладкая с яркзолотистыми отражениями солнечных лучей, зеленой прибрежной каймой водорослей ободряла, веселила. С непокрытой головой, радостный, возбужденный мелькнул перед отцом сынок Федюнька. Улыбаясь, громко крикнул: «Иди ко мне, тятка!» Отец дрогнул, вскочил на ноги. Задержав дыхание, закрывая глаза, минуты две старался восстановить образ мелькнувшего сына. Звякая кандалами, передвинулся с места, поднял к глазам руки, перенес на голову, царапая волосяную часть: зуд охватывал спину, грудь, живот, руки. Поворачиваясь, приседая, выпрямляясь, с ожесточением растирал тело, прижимаясь к острым кирпичам.

Предрассветное время, тюрьма спала, слышался малейший шорох, где-то под полом возились крысы, шумом и писком нарушая тишину. Привычное ухо надзирателя уловило знакомые шаги: оправляясь на ходу, он шел навстречу поднимавшемуся по лестнице смотрителю.

— По тюрьме благополучно, вашескородие! — тихо докладывал надзиратель.

— Секретный?

— Снял, вашескородие, сейчас сидит, с нары не встает.

Помни, Рыбов, особый за ним надзор, — задерживая шаг, понижая голос, говорил смотритель, — на тебя надеюсь. Завтра, послезавтра решат, — понимаешь? Не сделал бы чего над собой, должен сохраниться. Удавится до времени, что другое сделает, осрамится... по службе неприятности. Отвори камеру!

Показалось темное, серое встревоженное лицо, включенная голова, борода, округлившиеся глаза: прижимаясь спиной к печи, стоял заключенный. Окинув глазами стены, нару, потолок, пол, скользнув по стоявшему, смотритель вышел.

— Наблюдай, береги, глаз не спускай, в другие наряды не пойдешь, днем отдыхай, — озабоченно говорил смотритель, каждую минуту могут потребовать исполнения.

С заложенными за спину руками, раздумчиво ходил по коридору надзиратель Рыбов: его мучила, давила непонятная душевная тяжесть, что-то тяжелое облегло сознание. Озираясь, подходил к двери приговоренного, отходил, снова возвращался, открывал окошко, заглядывал.

Заключенный Кремнев не слышал дневного гула тюремной жизни, не видел солнечного луча, врывающегося через тусклое окно в камеру. Сидя на наре с вытянутыми по полу ногами, руками, сложенными на животе, закрытыми глазами, он переживал радость воображаемой встречи с односельчанами, которым рассказывал:

— Стою я, братцы, на суде, перед их благородиями, они о своем говорят, я о своем думаю. Мы, крестьяне, будем господ судить — осудим, господа крестьян — не помилуют, — злобимся, согласия не бывает.

Гремел затвор, широко распахивалась дверь, боязливо вскакивал на ноги приговоренный: входили двое уголовных, один с оловянной миской, пайкой хлеба, другой с мочальной шваброй в руках. Входившие торопились, избегали встречи глазами с заключенным, не смотрели друг на друга...

— Ешь, подождем! — глухо говорил надзиратель.

Машинально глоталась тепловатая пища, выпивалась вода. Иногда Кремнев терял душевное равновесие. Проглатывал корку хлеба, и у него вдруг мелькала мысль: «Не в последний ли?!» Что-то обрывалось в груди, придавливало; усиленно колотилось сердце; он сидел остолбенелый, с посиневшим лицом, ничего не слыша, никого не видя...

— Который день сижу после суда? — спросил он однажды надзирателя.

— Четвертые сутки, — процедил надзиратель, спохватившись, отодвинулся к выходу.

— Скажи пожалуйста, как время проходит! — воскликнул заключенный, снова погружаясь в работу мятущейся мысли...

Звякнул дверной затвор, торопливо вошли...

Приговоренный выпрямился, насторожился.

— Приказано расковать, — кладя на плечо заключенного руку, прерывисто говорил тюремный надзиратель, — отец духовный дожидается... — кузнец нагнулся, поднимал по очереди ноги, бил молотком по долотцу, вставленному в заклепку, руки вздрагивали, долотце срывалось, соскакивало... Кремнев порывисто дышал, округлившимися глазами оглядывал толпившихся людей.

— Прощаю... разрешаю... именем господ нашего Иисуса Христа... властью мне дарованной причащается раб божий Семен... честного и пречистого тела... честной и пречистой крови христовой... в оставлении грехов, жизнь вечную! Амины! — дрожащим голосом говорил священник.

Кремнев истоиво крестился, глухо, отрывисто говорил: — Про-

сти, баюшка... прости, отец духовный... За упокой... Иисусе... господи помилуй! — он со стоном опустился на колени.

Его вывели. Он шел, вздрагивая, упорным взглядом провожая удалявшегося священника...

Жадно дохнув предутренним воздухом тюремной ограды, он вдруг остановился. Сопровождавшие сгрудились, растерялись...

Иди, иди! чего остановился?! — шептали голоса.

Взглянув на серевшее небо, с окаменевшим лицом, завалившись в орбиты глазами, Кремнев двинулся, с трудом отдирая от земли отяжелевшие ноги. При сером начинающемся рассвете каменное трехэтажное тюремное здание с мигающими в окнах огоньками казалось плывущим, удаляющимся; шедшие позади, с боков люди закрывались туманом... «Иисусе, господи... угоди... святые»...

Как молотом стучало в сознании, дыхание прерывалось, он запинался, справлялся, двигался...

Вошли в задний тюремный двор: шеренга солдат с ружьями серой лентой поплыла перед глазами; плыли в тумане другие люди, выплыл чиновник, читал бумагу, скользнуло по губам металлическое распятие, снова сознание покрылось туманом...

Секунд пятьдесят один стоял Кремнев, согнувшийся, с черным лицом, закрытыми глазами, колымавшейся бородой, опущенными руками, тяжело подымавшейся грудью, слегка покачиваясь, шевеля помертвевшими губами!.. Шлепая опорками на босых ногах, подошел к нему палач, связал на спине руки. Торопясь, надел на дрожавшую голову мешкообразный саван, приседая, обдергивал, оправлял складки, неровности, повертывал, осматривал.

Под висевшей с перскладки веревкой, выше уровня стоявших на земле, показался закутанный саваном человек, рядом палач... скрылся... Минуты через две, в утреннем сыром рассвете на натянувшейся веревке покачивался труп крестьянина Семена Петрова Кремнева.

НА УСМИРЕНИИ

После разрома мужиков у барской усадьбы в селении Загублино расположилась постоем сотня N Донского казачьего полка под командой есаула Буркина. Загублинские жители, повидному, не придавали особого значения размещению казаков в их жилищах, казачьих лошадей в конюшнях и загонях; мужики ездили, ходили на пашни, сенокосы, косили траву, жали рожь, молотили, посещали монопольку. Солнце всходило и заходило в точно определенное время, дождь поливал поля, огороды, превращая улицы в болото; то же солнце высушивало, ветер поднимал столбами пыль, приносил новые дождевые, градовые тучи.

радость урожайных, горе голодных годов; деревенская жизнь текла извечным ходом.

Изредка деревенскую тишину нарушала полоумная тетка Семениха, вдова повешенного «бунтовщика» дяди Семена. В рваной рубашке, босая, протестовосая, с испуганно бегающими глазами, скаленными зубами, с завернутым в тряпку полено на руках, она садилась в грязь, пыль, на кучи навоза. Развертывая тряпки, бережно прикладывая полено к отвислым, высохшим грудям, баюкала, припевая:

— Спи, усни, угомни тебя возьми! Спи, сынок дорогой, умоленный, упрощенный... баю-баюшки, баю! Не отдам тебя, сыночка, белым телом охраню, баю-баюшки, баю!

Кругом собирались бабы, ребята, девки, подходили мужики: стояли молча, внимательно разглядывая жесты безумной, вслушивались в мало понятную речь, в дикие восклицания. При малейшем движении безумной толпившиеся ребята, как испуганные воробьи, разбегались в разные стороны; при спокойном настроении окружали ее, как почетным караулом.

Приход любопытного казака вызывал у Семенихи припадок бешенства: с искаженным злобой лицом, яростно наступая на казака, она дико выкрикивала:

— Аспид! Кани! Анафема проклятый! Рви материнскую угробу, грызи собачьими зубами! Подавись! Ха-ха-ха! *

С громким произвольным хохотом в судорогах падая на землю с пеной у рта, каталась, затихала, засыпала. Очнувшись, бережно завертывала в тряпки ватявшееся полено, мерными шагами расхаживала по деревенским улицам. Загублинцы не забывали «полоумную»: давали приют, поили, кормили, жертвовали поношенную рубашку, подавали «за престол» «о здравии болящей Окулины». Избегая встречи с Семенихой, казаки издали сворачивали в переулочек, заходили в первые попавшиеся ворота.

Начальные месяцы казачьего постоя в Загублине не прошли без «случаев», наделавших много хлопот, огорчений той и другой стороне. У пятнадцати казачьих строевых лошадей были подрезаны на ногах жилы; искалеченные кони сделались негодными к строю. Казаки ругались, вымещали злобу на крестьянских спинах. С общества взыскали деньги, приобрели пригодных коней, пригрозив за повторение жестокими наказаниями.

Не «явились» в строй четыре казака, которых «при тщательных розысках» не нашли, отметили в списках «в безвестной отлучке». Отлучившиеся были особые любители женского пола, всенародно похвалявшиеся не оставить «без любовной ласки» все женское загублинское население. От «неизвестной причины» пять раз загоралась квартира командира сотни: при усилении караулов «возгорания» прекратились.

Наступило страдное время: мужики, бабы, подростки уезжали, уходили в поля, осыпался хлеб — в селении оставались ста-

рики, старухи, малые ребята. На дворе засуха: «Случись пожар — погибни!» Охраняя себя, своих коней, казаки превратились в неусыпных нянек, караульных; зорко следили за ребятами, не давали баловаться разведением «тесляков».

— Куда угли несешь, постреленок? — догоняя шестилетнего хозяйского сынишку и отбирая железный ковш с горячими углями, выкрикивал казак-постоялец.

— Никитка послал за угольями! — оправдывался схваченный.

— Я тебе дам Никитку! Голову отрублю! Держи его, держи! — кричал казак вдогонку убежавшему посланцу Никитки.

Напуганные окриками и угрозами, ребята бросили таскать горячие уголья, разводить под крышами огни: получалось необычайное явление — отсутствие пожаров.

— Спасибо казакам, пугают пострелят, не дают огнем баловаться! — говорили отцы, матери.

— Что дело, то дело! Лучше, чем за девками гоняться, с бабами охальничать.

— Не всякий из них озорник, есть хозяйные, услужливые.

— Не слышно про таких! — раздается скептический возглас.

— Мы слышали: богу молятся, не мывши рук, за стол не садятся.

— Правда ли?! — сомневался собеседник.

— Какой они державы?

— Кто их знает! Казачьей державы, раньше не видывали.

— То-то не видывали! Недавно проявились.

— За ребят спасибо: воли не дают, укрощают.

— За одно спасибо, за другое не спасибо!

В воскресные, праздничные дни мужики собирались у ворот на лавочке, на берегу озера, на лугу, за околицей, подходили казаки, присаживались; толпившиеся зрители напряженно прислушивались, наблюдали.

— Сказывают, с Дон-реки к нам пожаловали? — спрашивал дядя Федот, коренастый, приземистый рыжий мужик средних лет, сидевшего с ним на лавочке постояльца-казака.

— Обязательно с Дон-реки! Откуда нам проявиться! — наставительно говорил казак. — Прирожденные казаки, от пречков, по грамотам.

— Скажи пожалуйста! — удивился мужик. — В народе болтают: от Иродов вас производят, от иностранных фараонов, недоверчиво оглядывая собеседника, продолжал дядя Федот. — По усмирениям служите?

— Куда прикажут! Коней жаль, измучиваются, домашней крови, на своих хлебах выращены.

— Дело известное! свой живот дороже посторонних, своим горбом достается. Дон — большой город? — любопытствовал дядя Федот; казак кривил губы, отплевываясь, с презрением говорил:

— Рассея матушка! Дон не город, река степная. Прадеды наши от реки прозвание получили, кровь проливали. Шашка, нагайка, лампасы к штанам от млад рождения предназначены.

— Болтают в народе, — говорил дядя Федот, — родится у казака младенец, сажают на коня, к хвосту веревкой прикручивают: сосет младенец конский пот, набирается прыткости, растет на конском хребте.

— Вре-е-ет Рассея, кацапова матка! — обиженно воскликнул казак. — Не трогают на Дону младенцев, приказов, распоряжений не было. Сосет младенец материнскую титьку, начальство наблюдает, чтобы в регистр записали младенца: с семи-восьми годов к штанам лампасы, верхом на жеребенка, нагайку в руки. Атаманы блюдут, чтоб казак с измалетства узнал коня, сколько в нем жил, бабок, правильность копыт, зубы подсчитывал, ребра. На счет шеи, гривы, хвоста особые распоряжения: гриву, хвост подстригай по параграфу, подковы на копыта по особому рисунку. Обмундирование, конское снаряжение предусмотрены от млад рождения. Живем по воинским положениям: младший возраст, средний, старший приговорительных разрядов; полевая служба, льготные полки; подведены под стройность; не убежишь от службы, не улетишь по воздуху! Напоследок ополченская служба. Умрет казак — из регистра вычеркивают.

— От службы куда уйдешь?! — подтвердил дядя Федот. Наше дело по-крестьянству: с рожденья жилы вытягивают, в пору живому в могилу!.. По набору служите? По солдатским уставам?

— Мы не солдаты, — обидчиво ответил казак, — с семнадцати лет служба, в станицах хозяйствуем, жена, ребята остались, — как живут? Богу известно! Собрались в поход в трос суток, жена, ребята плакали: старшей девчонке девять, сыну третий годок, в промежутке две девчонки... работни-и-ки! — протянул он печально.

Наступило молчание.

— Вы какому царю служите? — нарушил молчание Федот.

— Чудак ты человек. Разве мы черкесы, турчины? В церковь ходим, крест на шее. Поднесут винца, выпьем; людей не чуждаемся, не бегаем. До свидания! Пойду до товарищей.

Федот следил за уходившим: в глазах, лице растерянность.

— Позвать соседей, посоветоваться, — решил он, — складчиной полведра водки не разорит, народ казаки любопытный!

На задворках собралось много народа: мужики стояли полукругом, бабы, девки поодаль. Подталкивая друг друга, последние нерешительно придвигались к линии мужиков: поднимаясь на носках, любопытно заглядывали через головы впереди стоявших. На лицах напряженное любопытство, ожидание; не шумели ребята, неизменные свидетели сборищ, происшествий, деревенских скандалов; на бревне сидели казаки с урядником Ряпкой.

В Юркове расстрелы, десятка два убили, — размахивая руками, говорил невзрачный мужичонко.

— В Юркове не казаки, дрягуны, дядя Митрий сказывал. «Особливое, говорит, положение: едва ноги уволок! Две недели на печи отлеживался», — дополнил сообщение длинный жердеобразный мужик с темным облупившимся лицом.

— Кто их разберет! дрягуны, казаки, стражники, урядники, одной породы, одного обычая: по зубам!.. ни суда, ни управы.

— Чего врешь! Дрягуны, казаки — конская сила, посторонняя, стражники — из наших мужиков.

— Не вру, правду говорю! Сидим в Загублине, видим свет в банное окошко. Стражники по особой присяге: крест с иен в сапог, под пятку придавливают, младенца головой об угол.

— Подошли последние времена!

— До последствий далеко, последки в руках господ, к ним начальство не касательно!

— Откуда пришло?! Жили деды, прадеды, вдруг, как прорвало, разлилось. Поп, отец духовный, молител, чего смотрит? Его забота хранить мир православный, его послушают: предстатель он у престола господ! — вздыхая, говорил седой сторбленый морщинистый старик со слезящимися глазами.

— Поп? предстатель?! Нашел, дедушка, чего сказать! Попы свое дело делают, дедушка Демьян, до нас им касательства мало. Возьмем нашего: толст, утробист, еда жирная, разве он заступится, накормит с голодухи? Попрошу-у-уй!.. Сущья к его благодословеню: знает поп, где рак зимует! Кляуза! Пятьдесят наших общественников гниют в остроге — кто направил? Поп Сидор с богатеями, его молитвами... А ты, дедушка, молителем зовешь, предстателем у престола всевышнего! За свое он брюхо молится, наше брюхо в стороне. В голодуху кто барышню выкурил, не дал голодных ребят накормить? — возбужденно говорил пожилой крестьянин. — Поп Сидор выкурил!.. «Нельзя кормить голодных без спроса начальства». Сибирью грозил. Не было раньше запрета парням, девкам собираться, посиделки устраивать. Сейчас хуже неприятеля. «Кто позволил? Бунтовать?». На прошлой неделе у дяди Григория молодуха рожала первенского. Положили в амбарчик, при ней бабушка Пушкариха, как следует быть в таком деле. Не стерпела Фекла родовой муки, закричала; проходил стражник Прошка, на ногах не держится. — выломая дверь. «Кто бунтует?.. Что за крик?!» Бабушку лапайкой, молодуху по голому брюху.

Казаки слушали с серьезными лицами.

— Послушайте красного, человека опасного, — скороговоркой заговорил рыжий казак-балагур, — солнышко всех греет, не всех приголубливает!.. Бреют вас, бреют нас: вас со лба, нас с затылка. Зашел я на днях к дяде Ивану осмотреть постоянных лошадей, стоят в чистоте, захожу в хату.

— Здорово хозяйни с хозяйкой!

— Спасибо! Садись, гостем будешь.

— Мне хозяйни повидать, приказал вахмистр.

— Я хозяйни ногу порубил, встать с кровати не могу.

Подошел к кровати, хозяйни в лице изменился, побеле-ел.

— Чего тебе?! — спрашивает; трясется, глаза остолбенели.

За постоянных лошадей спасибо сказать: даже хорошо коням, на редкость.

— Испугался я, не ждал хорошего, — ответил хозяйни.

— Напрасно, дядя Иван! Казаки богу молятся; покажи порубь, лекарство найду; смрад, с души воротит. — Сходил за фельдшером; через неделю рану затянуло, приятелями сделались: свои глаза, свои уши — всему голова! Сидит в земляной норе крог, из рода в род сидит, белого света не видит: глаза малосенькие, с булавоочную головку, земляные глаза, — чего видит, чего знает? Уходим мы на службу от жены румяной, веселой, — возвращаемся: жена, ребята ободранцы, бабка, что щепка в засуху. Наши старики говорят: плавает по морю-окияну божья земля Аладырь, изготовлена богом для человеков. Медом, воском пахнет Аладырь, живут люди каждый сто годов, на сто первом представляются. Пчела жужжит темными тучами, пашут, сеют без ссоры, без злодейства; бабы без мук рожают; вдов, сирот прокармливают, что родных детей. Боевой амуниции нет в помине: соха, борона, лопата, коса, — нет других орудий. Без молитвы, праведности, добрых дел Аладырь искать не берись, — в глаза не покажется. Понскать бы святую землю, — как полагаете? Пока до свиданья! — уходя, говорили казаки. — Соберемся в другой раз, другое расскажем, вас послушаем.

Мужики расходились нехотя, кто-то воскликнул:

Тяжело, братцы, всем живется!

* * *

В комнатах поповского дома чистка, уборка: приближался храмовый праздник; отец Сидор решил пригласить к себе в дом офицеров казачьей сотни, расположенной в селении. Объемистый, лет шестидесяти, коренастый, с седой головой, бородой лопатой, о. Сидор Орленков жил сам друг с попадеей: дети пристроены, забота свалилась. Получив архипастырское «разъяснение к способствованию надлежащим властям», он понимал, что посещение офицерами его жилища поднимет пошатнувшийся авторитет, усилит пастырское значение.

Кривоглазая здоровенная кухарка Фекла с теткой Матреной босые, потные скребли, терли, обтирали, обмывали; слышались тяжелое дыхание, всплески воды, шлепанье босых ног. Матушка попадья, Аграфена Кондратьевна, седая, грузная, с оплывшим лицом, короткими ногами, как шар, перекатывалась из комнаты в комнату.

— Прибудут дорогие гостеньки, — с передышкой говорила

казацкий начальник с благородным офицером; начальник — большой чиновник, власть ему дана наказывать непокорных. На прошлой неделе поп жаловался на пьяницу Ваську Дергачева: обозвал «жеребачьей породой», «долговолосой конницей». Подвели к начальнику буяна, ударил он Ваську по уху.

— За что бьешь, ваше благородье?!

— Не оскорбляй служителя господня! Дать ему сто нагаек! Не простит о. Сидор — в тюрьму ушлю, в кандалы закую. — На коленях стоял Васька, в ноги попу кланялся: «Прости ради малых детушек! Пьян был, с языка сорвалось». Простил поп: засеять, запахать две десятины обещал Васька, дал попу расписку. Соберется гостей к праздничку довольно, постарайтесь, пособите обчиститься!

— Получилось от владыки благословение, — следя за работой поломоев, говорила попадья, — укротить в приходе бунту: испертился народ, осатанел! Прошлые годы к празднику пять возов хлеба насобиравали; все попу, попадье выносили, оказывали почтение. «Напередки милости просим! Не проходите, не проезжайте, не кладите худой славы на хозяина!» Ныне непочтение к священному сану. «Не прогневайся! Самим есть нечего, господь подаст!» Разве не обидно слушать?.. Были неурожай, засуха, мор людской, — непочтения не было: делились с попом, попадшей последним. Началась беда с японской войны: когда погребовали солдат из деревень, были доходы духовенству, — грузная, потная, отирая фартуком лицо, говорила попадья, — молебны служили, платили с усердием. Благолепность была в храме от зажженных свечей, что в светлое Христово воскресенье! Усердно молился народ православный. Слез, горя, стонов, ребячьих криков пришлось повидать, насслушаться. Ухватятся за отцовы ноги подпожники ребят мал-мала меньше, вопят на всю улицу:

«Тятенька, не уходи! Тятенька, не уходи! На кого нас с мамкой покидаешь?» — «Кормилец, поилец! пропадет моя головушка, сгинут ребята!» Отец здоровый бородатый бледный, что мертвец, слезы текут по щекам, трясется, вздрагивает: «Отвяжись, скорянные!» Уходили в поход одурманенные, исхудалые, почерневшие, тряслись, как в лихорадке. Ушли солдаты, унесли мирное житие. Окончилась война, кто остался жив, вернулся; привезли безруких, безногих. Опустел храм божий, народ ополоумел! Поехала третьего дня по приходу собирать праздничное: человек я грузный, на ногу тяжелый, к каждому дому подходила; дело шло с грехом пополам. Подхожу к дому Меркулыча, бывал мужик хозяйственный, обходительный, выносил меру ржи; жена — янц, поросенка. Иду по дороге, навстречу парни с гармоникой — между ними Ванька, сын Меркулыча — наигрывают, приплясывают; вплоть прошли, не поздоровались, шапок не сняли, будто не видели, пожаловалась старику Меркулычу, а он:

— Подавай бумагу в волостной суд, разберут, накажут. Не

прогневайся, подать нечего, времена тяжелые! Отошла без защиты, без жита, без яиц, поросенка. Пошел грех по приходу, непокорство, зубоскальство; с постоем казаков стало спокойнее; забегают в поповский дом: уточку, янчек, рыбки свежей принесут; хорошая этот год рыбка, гулевая, жирная. Постарайтесь, бабоньки, пособите обчиститься, дорогих гостей ожидаем! — грузно поднявшись со стула, она вышла из комнаты.

— Ноет попадья, поет Лазаря! — сквозь зубы проговорила Фекла.

— Завидуешь порода!.. Не брюхом, так ухом, подтвердила Матрена.

* * *

Отца Сидора Орленкова прихожане прозвали «Стражником», «Преподобным Юдой». Мясистый, с выпяченным животом, седыми волосами и бородой, серыми прищуренными глазами, он обладал тягучей масляной речью. «Да не оскудевает, чадо, рука твоя в возблагодарении, и благо тебе будет, долголетен будешь на земли!». Сладостный перед владыкой, почтительный, смиренный перед консисторией, благочинным, не забывая степени ранга и светских властей, он плыл по течению жизненных обстоятельств, веруя, что поборы с прихожан — установление святых отцов, покусение на них — посягательство на православные догматы. С женой Груней жил дружно, не позволяя, однако, ей вмешиваться в денежные дела.

— Близкая родня жена к мужу, — философствовал о. Сидор, — счет денежный не ее ума дело!

С дьяконом Кононом Федоровичем держал себя без особой гордости; заходил в гости, вступал в словопрения. Псаломщика Петровича, мужчину лет пятидесяти, многочисленного, держал в отдалении:

— Получи священный сан, подойди к престолу господню, возьмем в компанию.

При начавшихся «праздных разговорах» о церковной, помещицкой земле, лесах, угодьях о. Сидор бывал на общественных сходах, слушал жаркие споры, разговоры. Сходы были бурные, выплывали мельчайшие обиды, капля по капле копившиеся веками; заявлялся протест, встречая общее сочувствие.

— Не жизнь, миряне-общественники, каторга! — гремел голос заскорузлого с всклокоченной бородой оборванного пятидесятилетнего дяди Тихона, проживавшего сам-двенадцатый в покрякивавшемся полураскрытом домишке. — Пять разов в год попу ржи насыпь, попадье удели, дьякону, псаломщику, просвири: ползайот по домам православных, что цыганки с воровбой! Прощлый раз хлеб заскребли в амбарушке дочиста: своих двенадцать едоков, — разве это порядок?! Разоренье! подати, повинности, попадья с попом, просвирия.

Не сам брал, без тебя в амбар не ходил: была твоя добрая воля давать, отказать! — оправдывался отец Сидор.

— Отда-а-аши! — захлебываясь, выкрикивал дядя Тихон. — Последки выскребешь: скулят над душой, что нищего за волосы тянут! «Ради праздничка святого!.. во спасение души, тела, сродственников, молитвословие, здравие чадам, домочадцам»... Отда-а-аши! Бабу отдашь, не только хлеб выгребешь!

— Ловко придумано!.. Пальца в рот не клади, откусят по локоть.

Отдаст? — слышались голоса.

Последнее загреб. Душу вывернули.

— Чего повам делать! Харчи готовые.

— Пожирели на мирской шее, пора похухать: отберем церковную землю, жалованье по заслугам.

После прибытия казаков о. Сидор и богатеи выделились в особый разряд почитателей «христолюбивых воинов», явилось желание ближе познакомиться с начальниками.

— Дело выйдет неубыточное, — раздумывал о. Сидор, — лишних расходов не потребуется: подписочку в честь защитников наших, охранителей устрою. Охрана всем нужна, благонамеренные люди не откажутся. Посетят дом христовы воины, разнесется молва по приходу, по окрестным селениям, дойдет весть до владыки, консистории! — проносились в голове мечтания о бархатной камиллавке, «благословении св. синода», «ордене святыи Анны третия степени».

Случай к знакомству представился: за неделю до храмового праздника казак принес о. Сидору пакет с надписью: «По наружности 28 руб. 17 коп.». В бумаге значилось: «Вверенная мне сотня Н казачьего Донского полка, движимая христианским усердием о поминовении душ убиенных соратников Ивана и Савелья, по добровольному соглашению собрала 24 руб. 17 коп., добавляя от себя 3 руб. и 1 руб. от сотника Сверчкова, прошу вашего благословения за прилагаемые деньги отслужить панихиду на могиле убиенных в воскресенье, в 11 ч. утра, с раздачей казакам восковых свечей, изготовленном помпозитивной куты, примерно, на сто человек. О получении денег прошу дать расписку. Командир сотни есаул Буркин».

«Божья милость ко мне грешному!» невольно подумал о. Сидор; он ожил.

— Спасибо командиру за христианское усердие; истинно христолюбивые воины! — громко сказал о. Сидор.

— Расписочку, ваше благословение, приказано затребовать!

— Сейчас, мил человек, обожди минутку, — минут через пять он вышел с запечатанным конвертом.

— Как тебя звать, величать? — передавая конверт, спросил он казака.

— Семеном Ребровым, ваше благословение!

— Не обижай мою попадью, воин христов, выпей водочки,

закуси! За помни души соратников от отца духовного выйти не грешно. Испивашь?

— Пьем, ваше благословение, грешим перед богом!

— Военное дело, воин христов, военное! царские слуги, благословенные детушки, храни вас царица небесная.

Казак выпил, закусил, поблагодарил, вышел.

«Хитрюга поп, — измеряя широкими шагами улицу, думал казак, — обрадовался деньгам. Попадья из своих рук угостила. «Напередки милости просим! Заходи, воин христов». Отчего не зайти? Три чашки водки налил, закусека из собственных рук».

— Двадцать восемь рублей семнадцать копеек, — прикладывал на счетах о. Сидор, — семь, восемь рублей обойдутся свечки, куты, на семнадцать копеек розного ладачу, остаетя двадцать. Две трети... две трети... тринадцать рублей, тридцать две с половиной копейки: дякону, псаломщику — семь рублей: велика милость Господя!

* * *

Панихиду служили в церковной ограде; казаки полукругом выстроились у могильных холмов; впереди командир, есаул Буркин, пожилой, лысый, бородатый, с нависшими усами, одутловатым лицом, плоским носом, черными глазами, широкой спиной, в походных сапогах, с шашкой через плечо серого пальто. Придуривая глаза, оглядываясь, он скользил глазами по стоявшим казакам, оглядывал могилы со вставленными в землю деревянными крестами. Ближе к фронту стоял сотник Сверчков, молодой, краснощекий, с едва заметным пушком на губах, с карими глазами, черными бровями, с любопытством оглядывавший собравшихся мужиков, баб, девок, в отдалении ожидавших начала панихиды.

— На молитву-уу! — раздалась команда, головы обнажились, в руках казаков затеплились желтые свечи, в руках офицеров — белые, с золотыми ободочками. Служили торжественно: о. Сидор тянул на распев возгласы, дякон, поднимаясь на носки, вытягивал шею, мерно размахивал кадилом. Загораживая рот ладонью, псаломщик Петрович фистулой пел погребальный мотив: «Упокой, господи, души усопших раб твоих! И ныне, и присно, и во веки веков, аминь! Житейское море, воздвигаемое». Дружно крестились казаки, наклонялись головы, шеренги колыхались, посверкивая пламенем свечей. Бородатые, загорелые, с деревянными лицами, наклоняя, выпрямляя головы, глядели вдаль через головы командира, священника, дякона. Крестьяне молились усердно: задерживая на лбу правую руку, медленно переносили на грудь, плечо; наклоняясь, прижимались лбом к холодной земле, тяжело вздыхали.

— И сотвори им ве-е-ечную память! — возгласил дякон; ку-

тью или все присутствовавшие на панихиде. Разоблачившийся о. Сидор подошел к есаулу.

— С просьбой, господин командир, от себя, от других хороших людей!

— К вашим услугам! Чем могу служить? — подавая руку, спросил есаул.

— Не откажите в праздник с товарищем вашим зайти хлеба, сотню откусать! Желательно... защитников отечества...

— Спасибо, о. Сидор! Обещаюсь за себя, за товарища с большим удовольствием! Благодарю за панихиду, сотня пожелала, христианская потребность.

— Святое дело, господин начальник! Во спасение души, вечного упокоения. Донесу владыке, изъясню: дань земная жителям небесным, — возбужденно говорил о. Сидор; позади стояли дьякон, псаломщик; придвинулись мужики, прислушиваясь к разговору.

— Смирно-о-о! равнение направо, шаго-ом ма-а-ри! — раздавалась команда.

— Обязательно придем, о. Сидор, очень благодарны! — уходя говорил есаул.

* * *

Буду просить тебя, сынок, — на ходу говорил сотнику Сверчкову есаул Буркин, — не давай мне у попа напиваться, понимаешь? Ногой толкни, дай туза под бок, послушаю, воздержусь.

— Упрям ты, батко, по пьяному делу — море по колено.

Верно-о-о! Ха-ха-ха! — грузно смеялся есаул. — Случается, сынок: не пересекай дороги Буркину под горячую руку.

— Пожалуйста, милости просим! — одетый в шелковую коричневую рясу с голубой подкладкой на рукавах, встречая офицеров, радостно говорил о. Сидор. — Моя попадья Аграфена Кондратьевна, живем в одиночестве, дети пристроены.

Гости сидели, ходили, курили, не отказывая хозяину в просьбе: «попробовать янтарной», «не обижать хозяина, хозяйку». Прикрывая рот кулаком, вытягивая шею, дьякон не отводил глаз от сидевших офицеров, их шашечных португеей, следил за каждой выпитой ими рюмкой, проглоченным куском пирога. Феоктист Тарасович, богатый колесник, тучный, грузный, икая, покрикивая, тяжело вздыхая, порываясь вступить с офицерами в разговор, вдруг испуганно закрывал глаза, беззвучно шевелил губами. Отец Петр Волгин, ближайший по приходу сосед о. Сидора, толстенький, коротенький попик с выющимися русыми волосами, выпуклыми глазами, сидя по левую сторону Буркина, усердно наливал рюмки, наводя разговор на интересовавшие его предметы. Псаломщик Петрович, худой, поджарый, жердеобраз-

ный, с обросшим лицом, вытянувшись сидел у дверей на стуле, улыбался каждому слову есаула; обтирая ладонями намазанную голову, поворачивал правое, левое ухо в сторону разговаривающих.

— Позвольте спросить, господин начальник, гонимым голосом говорил о. Петр, — по каким обстоятельствам позволительно прибыть с Дон-реки?

— По службе! — коротко ответил Буркин.

— Справедливо изволите говорить, великая истина! Служба — везде служба, по-духовному, по-военному: у нас воинские чины, у нас консистория. Слыхали мы про казаков; патриоты отечества, оберегают границы, в награждении, занимают свой ством.

— Правду слышали! — поглаживая бороду, закручивая усы, говорил есаул, — служим по заветам прадедов. Выпьем. Дмисро, — обращаясь к Сверчкову, воскликнул Буркин. — Отец Сидор, хозяин дома, покажите пример, поддержите компанию.

— От души, от искреннего сердца! — взволновался о. Сидор. — Дело наше деревенское, городских обычаев не знаем: на-демся на господ бога, святых угодников. Владыка наш, архипастырь пишет: «Собери вкупе благолепных, благочестивых, крепких верой православной, истинными, дедовыми обычаями; искренней савлов, способствуй во спасение души; воспомогай всеми способами к сокрушению нечестия...». Милости просим наливочки; земляничная, смородиновая, вишневая, что масло переливается... Городских вин не имеем, не хватает сребренников; тяжелые времена настали, избаловался народ! Принесут добротного бабы ягодок, попадья вином зальет, на солнышко для колера... Одна надежда на господ бога, его святая воля!

Он наливал рюмки, пригубливал, чокался, выпивал.

— Господа военные начальники, охранители, заступники, милости просим!..

— Не беспокойтесь... по-походному... Ха-ха-ха! — смеялся раскатисто Буркин. — За здоровье хозяина, хозяйки, всех присутствующих!.. — привставая, громко провозгласил есаул.

— Вам много лет здравствовать!

— Превосходная наливка, с колером, ароматная. — снова наливая рюмку, говорил Буркин. — За наше здоровье, кумо с матушкой.

— Горжусь попадьею, ее рук приготовления! — радостно говорил о. Сидор. — Пирога с рыбкой попробовать: жирная рыбка, сладостного вкуса. Рыбка любит плавать, слышали мы от старых людей... Господин молодой начальник, рекомендованную малиновой, бриллиант... с искрой, — от чистого сердца!.. Отец Петр, отец дьякон, Мирон Иванович, Никита Парамонович, пожалуйста! Петрович! Ты чего сидишь, как гвоздь в бревешке? Подходи к столу, выпей, закуси, пожелай здоровья дорогим гостям.

Приглашения учащались, лица румянились, прорывались вос-

кличания: «Василь Васильича Машку кто насильничал?!» — «Молчи, сват, не услышал бы!» — «Чего молчать?.. Мы сами с усами!»

Закрывая рот кулаком, дьякон сдерживал икоту. Поставив перед собой бутылки, Буркин наливал себе, Сверчкову, о. Сидору, о. Петру, Мирону Ивановичу, указывая на рюмки, кивал головой, прищмокивал губами. Лицо его бледнело, краснело, багровело, он часто смеялся глухим, утробным смехом, теребил бороду, расправлял усы. Выпрямляясь на стуле, тяжелым, затуманенным взглядом окидывал присутствовавших, наливал, выпивал, улыбался...

Гости вступали в период, когда терялась способность различения места, определения времени, обстоятельств; слышались возгласы: «Ограбят не хуже разбойников!»... — «Ни старухи, ни молодой!»

— Выпьем, Митро, наливка добрая, поп запасом хвалится... Ха-ха-ха! — разглаживая усы и бороду, грузно смеялся есаул. — Оскорбляют благородное сословие, — багровея, глухо, стризисто говорил Буркин. — Не-е по-озво-о-люю!.. Поп Сидор! — вдруг крикнул Буркин, — почему не пьешь?! На консисторию надеешься? Плюю в твою консисторию!.. Меня проси... принесу пользу... Видишь кулак? Пять пудов весит... В нагайки!.. Лавой! Хо-хо-хо! — смеялся он желудочным смехом; колыхался живот, тряслась полуседая голова. — Нагайку пробовал?

— Что вы?.. Господин начальник!? Всем сердцем, помышлением... — восклицал растерявшийся о. Сидор. — Тридцать лет свяществу...

— Служба требует, понимаешь, поп? За здоровье казацкой силы!.. Урраа! — вскакивая на ноги, крикнул Буркин. — Кричите урра!.. Уничтожим супостатов! — Он с размаху ударил стакан об пол, осколки разлетелись, зазвенели; выхватив из ножен шашку, махал над головой, выкрикивая: «Смерть изменникам!..»

Перепуганные гости повскакали, половина лезла под стол; с широко раскрытым ртом дьякон кричал «ура», присев на корточки, псаломщик Петрович загораживался стулом, он чувствовал, как прилипала к телу вспотевшая рубашка. Отец Сидор, о. Петр, церковный староста, носившие от науги, с закрытыми глазами, поддерживая грудь руками, кричали: «Урраа!!!».

— Эй, ты, пугало воронье!.. чего прячешься, не кричишь ура? — в сторону Петровича крикнул есаул. — Отрублю дурацкую голову!

Перепуганный Петрович дико закричал: «Урраа!..».

— Спасибо, молодцы! Утешили! Дово-о-ольно!.. — вкладывая шашку в ножны, усаживаясь, говорил есаул. — Люблю дисциплину!

— Расцелую, по русскому обычаю!.. — грузно поднявшись, покачиваясь, он начал обходить с целованиями. слезы текли по щекам, бороде.

— Отец духовный! Опора! Поцелуемся по-христиански, обнимая о. Сидора, целуя в губы, в бороду, голову, всхлиывая, говорил Буркин. — Русский ты поп... покладистый, люблю долго-волосых... Безответных люблю, заморышей, — обнимая побелевшего от страха псаломщика Петровича, плаксиво говорил Буркин. — Люблю дураков... истинный бог люблю! Простите меня грешного, недостойного, простите Христа ради! — низко наклоня голову, касаясь пальцами пола, говорил Буркин; он качнулся и, появившийся под руки, посаженный на стул, опустил голову на сложенные руки.

Покаянное настроение, целования ободрили присутствующих.

— Попугал — помывовал!

— Чего понимаем?.. Темный народ, деревенский, кого видывали?

Отец Сидор казался выше ростом; с горевшим лицом, блестящими глазами громко запел: «Взбранной воеводе победительная!» Присутствующие подхватили.

— Нет гордыни, христианская душа! — окончив пение, умилялся Петрович, — целовал меня, что в христово воскресенье...

Отец Петр разъяснял Мирону Ивановичу различие между обыкновенным человеком и воинским званием.

— Дисциплинарное воспитание воинского звания, походное положение, оружейное снабжение возвышают, отличают в применении почитания... С малых лет орудийная пальба создает доблестное положение, возвышенное перед прочими сословиями...

— Смирно-о! — раздался бешеный окрик. — Справа по отному... впрыскаю... Начинай, дьякон!

Испуганные окриком гости, прячась друг за друга, суетливо топтались.

— Ты бежать, астрелябия! — крикнул Буркин на пробиравшегося к выходным дверям псаломщика Петровича. — Требую! Ко мне!

Перепуганный, бледный подошел Петрович к есаулу.

— Здорово, братец! Чего меня боишься, как чорт ладана? добродушно спросил есаул. — Поцелуемся! — поцеловались. — Какой ты сухопарый, что глист в спирту, заморил тебя поп Сидор? Молчишь? Молодец! На начальника жаловаться подлость! — налив стакан водки, он подал Петровичу.

— Пей, уважь донского казака!

— Не осилить стакана, господин начальник, — опьянею! — дрогнувшим голосом говорил Петрович.

— Пей! — крикнул Буркин. — Не будешь пить, нанесешь кровную обиду.

Захлебываясь, тянул водку Петрович; поглаживая бороду, есаул внимательно следил за каждым глотком.

— Молодец! Русская душа! — обнимая, целуя Петровича, говорил Буркин. — Иди к порогу, отсиживайся! — грузно опускаясь на стул, сказал Буркин.

Он сидел согнувшись с закрытыми глазами, опустив на грудь голову: пленившая бугристая голова блестела в солнечных отражениях, грудь тяжело поднималась, он сопел носом, как крепко уснувший. Опьяневший Петрович, рассматривая растопыренные пальцы собственных рук, улыбался, кивал головой, грозил кулаком в воздух. Красный как кумач о. Сидор сидел неподвижно, со сложенными на животе руками; в комнате напряженное молчание.

— Сокрушим, в порошок сотрем! — как в бреду заговорил Буркин. — Что япошка?! Азиаты, идолопоклонники. Кому молятся?.. Идолам поганым. Лба не перекрестит сволочь!.. Выходи на бой, грудь на грудь, штык на штык, пика на пику, конь на коня... выдержит честный бой русское сердце, русская кровь не может хитрить. В атаку!.. В штыки. Ура победителям!..

Истина глаголет устами вашими, христолюбивый воин! мягко, елеинно заговорил о. Петр. — Читали в «Ведомостях»: боится японец столкнуться грудь с грудью с русскими воинами. Поднявший меч от меча погибнет!

— Ты, поп, зубов не заговаривай! — поворачивая пьяное лицо, крикнул Буркин. — Позову казаков... пятьдесят нагаек. Хо-хо-хо! — смеялся он, тупо оглядывая повскакавших на ноги гостей. — Я вам покажу бунтовать, оказывать сопротивление! — наступая на побледневшего о. Петра, выкрикивал Буркин.

— Брось, батько, оставь шуточки, всех перепугал! — удерживая Буркина, мягко, просительно говорил Сверчков. — Послушайся сына! — Покорно усевшись, есаул начал всхлипывать, жалобно говорил:

— Оби-и-дя-ят Бурочку, обида-ят сироту горемычную! склонив на стол голову, он громко зарыдал.

— Отец Сидор, отец Петр, присутствующие! — торжественно говорил Сверчков, — извините выпившего человека! Доброй он души, мухи не обидит в трезвом виде; во хмелю неспокоен, родовая болезнь, несчастный он, видывал горя, несправедливости.

— Испугались? — добродушно-пьяным голосом заговорил Буркин. — Спасибо сынку, говорит правду: несчастный я человек от материнского порождения!.. Пошутил, ей-богу, пошутил!.. Выьем, отцы, верные сыны отечества.

— Егорров! — крикнул вдруг Буркин.

Вбежал коренастый казак, с бородатым лицом, шапкой, нагайкой через плечо, в двух шагах остановился, вытянулся, руки по швам.

— Водки хочешь, Егоров? — спросил есаул.

Если милость будет, вашескородие!

— Какая тебе милость! Наливай стакан, приказываю.

Егоров выпил, обтер губы.

— пей второй! — Егоров выпил.

— пей третий. Признаешь ты меня, Егоров, начальником? — спросил Буркин.

Так точно, вашескородие! Есть вы наш отец командир, благодетель, начальник: вся сотня... по единому слову... без замедленья!..

— Молодец! Спасибо, Егоров! попендуемся! Обида-ят, — цедя Егорова, тинул он пьяным голосом, по щекам, бороде текли слезы.

— Иди, Егоров, иди, голубчик, ожидай!.. Погоди, Егоров!.. Если я прикажу нагайкой... исполнишь приказ? — упираясь в лицо Егорова выкатившимися глазами, спросил есаул.

Так точно, вашескородие! Без промедленья!..

Спасибо! Родной казак, присягу помнишь!..

— Пойдем, батько, домой! — наклоняясь к уху, говорил торжественно Сверчков. — Пойдем!.. Вредно тебе!

Все стояли окаменелые; о. Сидор, сложив на животе руки, бледный, растерянный, беспомощно озирался по сторонам.

— Егорров! — крикнул Буркин.

Что прикажете, вашескородие?

Ве-еди меня домой!

Осторожно поддерживая под левое плечо, Егоров помог есаулу встать со стула, приговаривая:

— Кругом стола пожалуйста, вашескородие!

— Спасибо, Егоров!.. девок приведи!.. Не мешай! — ударом ноги опрокинул стол; со звоном полетела посуда, перепуганные гости шарахнулись в стороны.

— Не попадайся на дороге казаку!.. доберусь, узнаете, — грозил уходящий.

Гости метались, как в ловушке; присев на корточки, о. Сидор стребал валявшиеся на полу осколки; сидевший рядом дякон подражал движениям о. Сидора; большинство толпилось у выходных дверей, преграждая друг другу дорогу.

— Что случилось?! — спрашивала вбежавшая попадья. Подрались, что ли?

— За хлеб, за соль обругал, — вставая на ноги, дрожащим голосом говорил о. Сидор. — Напишу владыке, пожалуюсь! Свидетели!..

* * *

Осенний день. Солнце слабо освещало лужи воды на улицах Загублина, от недавнего ненастья блестели сыростью крыши домов, блестела на солнце оббитая штукатурка колокольной. Мужики, бабы, девки, ребята торопливо шли за околицу, на сборное место уходящей казачьей сотни. Было часов одиннадцать утра, очистившееся от туч небо голубым ласкающим покровом сияло над головами пешеходов; суетились, торопились, особенно ребята, нелепая босыми ногами по уличной, липкой грязи, передавали новости.

— В Задыркино уходят, приказ явился!.. Петро казак сказывал.

И слышал — в Кузминишино.

— Ты слышал, мне Петро говорил!

— Уходят казаченьки, пропали наши головушки! — едва переступая по грязи ногами, опираясь на палку, шамкала беззубым ртом старуха Вавилиха.

— Иди скорей, Пашутка, уйдут! — торопливо говорила краснощекая девушка миловидной подруге.

— Уноси их, аспидов!.. Уноси леших!.. Невидаль. Штапы с лампасами, провались они! — прибавляя шагу, говорила миловидная.

— Командир верхом, трубач, зовут Никитой; труба в зубах... Трубит!

— Скажи пожалуйста!..

За околицей казаки стояли в две шеренги, перед фронтом есаул Буркин, сотник Сверчков; впереди на столике небольшая в ризе икона Николая чудотворца.

— На молитв-у-у-у.

Головы обнажились, зрители жадно следили за движениями казаков; молебен кончился.

— Сад-и-ись! — трубили выступление.

— Благословите, о. Сидор! Простите по-христиански прегрешения, — проговорил Буркин.

— Бог простит, благословит!.. Жизнь пережить — не поспеешь перейти...

— Шаго-о-ом марш! — сотня двинулась.

Загублинцы долго следили глазами за уходившими.



ПРИМЕЧАНИЯ *)

Елька

Впервые напечатано с подзаголовком «Из воспоминаний врача» в газете «Нижегородский листок», 1907, № 316, 29 декабря, стр. 2.

Каторжник Срублев

Впервые напечатано в «Воспоминаниях врача о Карийской каторге» в журнале «Русское богатство», 1902, № 10, стр. 198—211.

Карийская каторга в 1873 году

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1907, № 179

Тарас Титыч

Впервые напечатано в газете «Владимирец», 1907, № 209.

Ручаемся!

Впервые напечатано с подзаголовком «Из воспоминаний врача» в газете «Нижегородский листок», 1907, № 261, 24 окт.

На ура!

Впервые напечатано с подзаголовком «Картинка каторжной жизни» в газете «Волгарь» (Н.-Новгород), 1907, № 216, 4 сент.

«Решенный»

Впервые напечатано с подзаголовком «Из воспоминаний врача о Карийской каторге» в журнале «Народная весть» (СПБ), 1906, № 2, стр. 19—22.

Гулянка

Впервые напечатано с подзаголовком «Из воспоминаний врача о Карийской каторге» в журнале «Трудовой путь» (СПБ), 1907, № 6, стр. 39—43.

«За волей»

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1908, № 109.

Отставной штейгер

Впервые напечатано с подзаголовком «Из воспоминаний врача» в газете «Волгарь», 1907, № 306, 16 дек.

*) Список произведений В. Я. Кюксова дан в книге Е. Д. Петряева «Исследователи и литераторы старого Забайкалья», Чита, 1954, стр. 203—204.

Военная косточка

Впервые напечатано с подзаголовком «Из забайкальских воспоминаний» в газете «Волгарь», 1910, № 83, 25 марта.

Бакалюк

Впервые напечатано с подзаголовком «Из забайкальских воспоминаний» в газете «Волгарь», 1910, № 329, 28 ноября.

На этапе

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1907, № 147.

Случай

Впервые напечатано с подзаголовком «Отрывок из забайкальских воспоминаний» в газете «Волгарь», 1907, № 167, 15 июля.

Бродяга

Впервые напечатано с подзаголовком «Из житейских встреч и впечатлений» в газете «Нижегородский листок», 1909, № 125, 10 мая.

Гри-Гри

Впервые напечатано в газете «Волгарь», 1910, № 102, 14 мая.

В стороне от жизни

Впервые напечатано в литературных приложениях к журналу «Нива» (СПБ), 1910, № 8, стр. 535—546.

Визитация

Впервые напечатано с подзаголовком «В полковом околотке» в газете «Русские ведомости», 1911, № 197.

Старший врач

Впервые напечатано с подзаголовком «В полковом околотке» в газете «Русские ведомости», 1911, № 300.

Гидра

Написано в 1908 году. Печатается по рукописи.

На усмирении

Написано в 1909 году. Печатается по рукописи.

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Яковлевич Кокотов 3

Из воспоминаний о Карийской каторге

Елька	11
Каторжник Срублев	15
Карийская каторга в 1873 г.	27
Тарас Титыч	34
Ручаемся	40
На ура!	45
«Решительный»	48
Гулянка	53
«За волей»	61

Забайкальские встречи

Отставной штейгер	69
Военная косточка	75
Бакалюк	81
На этапе	88
Случай	94
Бродяга	98
Гри-Гри	103

Записки врача

В стороне от жизни	109
Визитация	116
Старший врач	121

В годы реакции

Гидра	131
На усмирении	136
Примечания	155

Кокосов Владимир Яковлевич
НА КАРИЙСКОЙ КАТОРГЕ



Ответственный за выпуск Л. Покровская.
Художник В. Оффман.
Художественный редактор И. Табаков.
Технический редактор М. Юганова.



Сдано в набор 28.IV 1955 г. Подписано
в печать 3.VI 1955 г. Форм. бум. 60×92 ¹/₁₆ —
10 печ. л. (9,92 уч.-изд. л.+1 вкл.).



ФД 04989. Тираж 15 000.



Читинское книжное издательство,
Чита, Молотова, 3.



Заказ № 2349.



Типография Управления культуры,
Чита, Анохина, 2.



Цена в переплете 4 руб.

КНИГИ, ВЫПУЩЕННЫЕ ЧИТИНСКИМ
КНИЖНЫМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ

- В. ИГИШЕВ — Шилинские рассказы, 1954 г. стр. 134.
ц. 3 р. 30 коп.
- А. КЕРДОДА — Долина Амалат, рассказы, 1954 г. стр. 40.
ц. 70 коп.
- О. СМЕРНОВ — Китайская граница, рассказы, 1954 г.
стр. 75, ц. 1 р. 50 к.
- Свежий ветер, сборник сатиры и юмора, 1954 г. стр. 78.
ц. 1 р. 60 к.
- Песни новой Даурии, сборник стихов, 1954 г. стр. 43, ц. 75 к.
- Сказки о животных, сказки народов Севера в обработке
М. А. Сергеева, 1954 г. стр. 86, ц. 1 р. 50 к.
- Чудесный мастер, китайские рассказы, сказки, басни, притчи,
поговорки, загадки, 1954 г. стр. 103, ц. 2 р. 45 к.
- С. ЗАРУБИН — На морском посту, повесть, 1955 г. стр. 146.
ц. 4 р. 75 к.
- ИЛЬЯ ЛАВРОВ — Ночные сторожа, рассказы, 1955 г.
стр. 140, ц. 2 р. 25 к.
- Б. КОСТЮКОВСКИЙ — Снова весна, повесть, 2-е изд. 1955 г.
стр. 147, ц. 4 р.
- Д. ЯВЛОНСКИЙ — В дальнем рейсе, рассказ, 1955 г.
стр. 43, ц. 90 к.
- ЮНИЙ ГОЛЬДМАН — Поверка, стихи, 1955 г. стр. 80.
ц. 1 р. 95 к.

Книги для детей

- ГАО СЯН-ЧЖЭНЬ — Как потерялся Сяо-сун, рассказ, перев. с китайского А. Гатов, 1954 г., стр. 19, ц. 35 к.
- И. МОЛЧАНОВ-СИБИРСКИЙ — Стихи для маленьких, 1954 г., стр. 14, ц. 1 р.
- О. ХАВКИН — Всегда вместе, повесть, 2-е издание, 1954 г., стр. 185, ц. 4 р. 50 к.
- О. ХАВКИН — Пятая маска, повесть, 1954 г., стр. 74, ц. 1 р. 40 к.
- В. ЛАВРИНАИТИС — Падь золотая, повесть, изд. 2-е исправленное и дополненное, 1954 г., стр. 238, ц. 6 руб.
- А. ДОВРИНСКАЯ — Маленькая Ано живет в тундре, рассказ, 2-е издание, 1955 г., стр. 28, ц. 50 к.
- Г. СЕНКЕВИЧ — Янко-музыкант, рассказ, 1955 г., стр. 15, ц. 20 к.
- Гороховый стручок — огородный старичок, польская народная сказка, рисунки И. Табакова, 1955 г., стр. 15, ц. 20 к.